

ВАСИЛИЙ ЗВЯГИНЦЕВ

РУССКАЯ
ФАНТАСТИКА

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



Одиссей покидает Итаку

Василий Звягинцев

Бои местного значения

«Звягинцев Станислав»

1999

Звягинцев В. Д.

Бои местного значения / В. Д. Звягинцев — «Звягинцев
Станислав», 1999 — (Одиссей покидает Итаку)

ISBN 5-699-05966-0

Переговоры с координатором аггров, сверхцивилизацией, ведущей тысячелетнюю галактическую войну за Землю, заканчиваются для Александра Шульгина очередным опасным приключением. Матрицу его сознания отправляют в параллельную реальность, в самое начало 1938 года, время разгара ежовского террора в России, где Шульгин, теперь уже нарком Шестаков, вступает в бои местного значения, сначала с НКВД, а затем уже со своими давними противниками-инопланетянами.

ISBN 5-699-05966-0

© Звягинцев В. Д., 1999

© Звягинцев Станислав, 1999

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	21
Глава 5	28
Глава 6	33
Глава 7	40
Глава 8	45
Глава 9	49
Глава 10	59
Глава 11	69
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Василий Звягинцев

Бои местного значения

*Я жизнь сравнил бы с шахматной доской.
То день, то ночь, а пешки – мы с тобой.
Подвигают, притиснут, и побили.
И в темный ящик сунут на покой.*
О. Хайям

Глава 1

День заканчивался как обычно. Как все подобные дни вот уже второй год подряд. В десятом часу вечера Шестаков запер несгораемый шкаф, ящики письменного стола, позвонил по «вертушке»¹ в приемную Председателя Совнаркома, чтобы убедиться – никаких неожиданных совещаний и коллегий не намечается, доложил, что едет домой поужинать и отдохнуть, отдал все необходимые распоряжения своим помощникам, после чего вызвал к подъезду машину.

Шестаков машинально отметил, что голос дежурного секретаря Молотова был ровен и даже любезен. По собственной инициативе он сообщил, что Вячеслав Михайлович ушел час назад и до утра возвращаться не собирался, так что товарищ нарком тоже может отдыхать спокойно. Это было приятно, потому что ночные заседания хоть и стали давно привычным делом, но все же изматывали, жить по перевернутому графику нормальному человеку научиться практически невозможно.

Впрочем, нет, научиться можно всему, а вот заставить организм спокойно переносить бдения до двух-трех часов ночи в прокуренных кабинетах, обходиться коротким утренним сном, а потом урывками добирать до нормы по полчаса-часу, не раздеваясь, в не слишком уютной, тоже прокуренной комнате отдыха, вполглаза, все время ожидая пронзительного телефонного звонка, – трудно и душевного здоровья не прибавляет.

Да и это еще не самое страшное.

Куда хуже постоянный, изматывающий страх. Что-то не успеть, упустить из внимания, не так и не то доложить на коллегии или на Политбюро, просто сказать лишнее в частном даже разговоре, заслужить неудовольствие вышестоящего руководства или, напротив, получить знак благоволения от того, кто завтра окажется разоблачен как враг народа. И, соответственно, самому оказаться рано или поздно в их числе.

А после жуткого февральско-мартовского (1937 года) Пленума ЦК ВКП(б), на котором «товарищам» было наглядно показано, что ни один человек, даже из состава «ленинской гвардии», теперь не защищен от расправы, нельзя стало быть уверенным в собственном будущем даже на сутки вперед.

Так и жил теперь Григорий Петрович Шестаков, нарком, депутат Верховного Совета первого (по новой «сталинской» Конституции) созыва и член ЦК.

Он вышел в тесный, зажатый со всех сторон высоченными каменными стенами двор-колодец наркомата, сел на переднее сиденье длинного вишневого «ЗИСа». Сзади – не любил, хоть и полагалось по рангу. Велел водителю ехать не спеша, «большим кругом», так он называл путь через центр и все Садовое кольцо, который занимал минут сорок.

¹ «Вертушка» – телефон специальной, защищенной кремлевской связи.

Не признаваясь самому себе, Шестаков таким образом оттягивал неизбежное. В плавно скользящей по ночному городу машине он испытывал чувство безопасности. На этом пятнадцатикилометровом пути от крыльца наркомата до подъезда дома на Земляном валу арест практически исключался.

Можно было спокойно курить, любоваться медленно падающими снежинками, красиво серебрившимися на фоне еще не снятой новогодней иллюминации, думать о чем-то, не имеющем отношения к невыносимой реальности жизни на вершинах власти, которая, впрочем, большинству окружающих казалась немыслимым счастьем. Со всеми ее атрибутами: персональным автомобилем, отдельной да вдобавок многокомнатной квартирой, служебной дачей в Серебряном Бору, спецраспределителем, Кремлевской больницей, а главное – возможностью часто встречаться и даже разговаривать с Великим Сталиным!

Знали бы они, чего стоит такое «счастье»...

И неожиданно он вдруг вспомнил: «А ведь сегодня, по-старому, Рождество». Последний раз Шестаков отмечал его, дай Бог памяти, на линкоре в семнадцатом году.

Но как бы медленно ни вел шофер машину, серый огромный дом, заселенный членами правительства, комдивами и комкорами, Героями Советского Союза, видными писателями и полярниками, неумолимо приближался. И вместе с ним надвигался привычный страх.

Привычный, нудный, тошнотворный, который не оставлял его много месяцев. Иногда страх немного отступал, заслонялся суматохой неотложных дел, заседаний, совещаний, командировок, но никогда не проходил совсем. Постоянное сосущее чувство под ложечкой, то и дело возникающая глухая ноющая боль в сердце стали его неразлучными спутниками. И еще – ему непрерывно хотелось спать. Не только оттого, что он регулярно не высыпался.

В сон наркому хотелось спрятаться, как медведю в берлогу. Лечь, укрыться с головой и хоть на несколько часов забыться, сбежать из ставшей невыносимой жизни.

Немного помогала водка, но он избегал ее пить в одиночку, сознавая, что вряд ли сможет остановиться после первых, приносящих облегчение рюмок, начнет ежевечерне напиваться до беспамятства. Правда, чем такой исход хуже того, которого он боялся, Шестаков не мог объяснить. Зато в компании равных себе, на так называемых «товарищеских ужинах» он пил, как все, до упора. И иногда с похмелья его посещала мысль – а не лучше и вправду начать изображать законченного алкоголика, чтобы выгнали к чертовой матери и с должности, и даже из партии? Тогда он никому не будет нужен и интересен, в том числе и ежовскому ведомству...

Но, одумавшись, понимал, что отказаться от привычных благ жизни, превратиться...

Ну, кем он может стать? Рядовым инженером в лучшем случае, а то вообще придется идти в простые слесари. Нет, даже этого не будет. Кто позволит бывшему наркому «слиться с народом»? Все равно заберут, только что громкого суда не будет, влепят пять или десять лет через Особое совещание, чтобы глаза не мозолил, и привет...

И по-прежнему, несмотря ни на что, Шестаков каждый день к десяти ноль-ноль приезжал в наркомат, вел совещания, сидел в президиумах, делал доклады в Совнаркоме и ЦК, всегда был готов ответить на любой звонок по кремлевской «вертушке».

Невзирая на состояние, сохранял подобающее должности суровое, строгое, но и доброжелательное выражение лица, умел вовремя пошутить и вовремя проявить партийную принципиальность, в общем, жил так, как давно привык сам и как жили все люди его близкого окружения.

Зато, переступив порог громадной квартиры, обставленной казенной мебелью из резного дуба и карельской березы, он сбрасывал дневную маску и превращался в нервного, желчно-раздражительного мужа и отца.

Поглощенного одной-единственной мыслью – как-нибудь дожить до следующего утра, обмирающего и обливающегося холодным потом при звуках каждого въезжающего ночью во

двор автомобиля, лязга лифтовых дверей в поздний час и, уж конечно, при виде казенных печатей, то и дело появляющихся на дверях очередной квартиры их восьмиэтажного подъезда.

Дело в том, что Григорий Петрович в отличие от многих и многих был умен и великолепно представлял себе суть и механизм функционирования Советского государства. Почему и не питал никаких иллюзий, жалея только об одном – что семнадцать лет назад сделал неверный, роковой даже шаг, вступив в ВКП(б).

Это помогло сделать блестящую карьеру, он был обласкан доброжелательным вниманием Хозяина, уже после начала «Большого террора» награжден орденом Ленина, но, обладая здравым умом и точным инженерным мышлением, в отличие от более наивных, верящих в «идеалы» людей, все понимал правильно.

В нынешней ситуации, если что, не спасут ни депутатство, ни награды, ни отеческие нотки Сталина, прозвучавшие в его голосе лишь месяц назад: «Такие, как вы, товарищ Шестаков, опора советской оборонной промышленности. Мы вам очень доверяем, но спрашивать будем строго. Вы уж не подведитэ...»

После загадочной смерти Серго Орджоникидзе, единственного нелицемерного защитника и покровителя, выжить в бессмысленно-кровавой мясорубке нарком не надеялся. Правда, очень хотелось, и иногда он заставлял себя думать так, как думало большинство окружающих его людей: что он ни в чем не виновен и очень нужен, делает важнейшее дело, известен с самой лучшей стороны, не запачкан участием ни в каких уклонах и оппозициях. Не зря же ему дали орден и выдвинули депутатом уже после того, как исчезли сотни и тысячи других, а значит – он взвешен (знать бы, на каких весах), исчислен и признан заслуживающим доверия. На день, на два на душе словно бы и легчало. Но почти сразу же за мигмом эйфории становилось еще хуже. Трезвый внутренний голос подсказывал, что то же самое мог про себя сказать и, наверное, говорил каждый посаженный и расстрелянный. Не ему чета – большевики с дореволюционным стажем, члены Политбюро еще двадцатых годов, сидевшие в тюрьмах и ссылках со Сталиным, лично знавшие Ленина.

Моментами Шестаков готов был обратиться и к Господу с мольбой: «Да минет меня чаша сия!» – и тут же с горькой усмешкой вспоминал, что она не помогла даже Христу.

Больше всего на свете Григорий Петрович завидовал теперь соседу по подъезду, капитану дальнего плавания Бадигину, сидящему сейчас не в роскошном кабинете, но и не в Лефортове, а в каюте вмерзшего в арктические льды парохода «Седов», дрейфующего в сторону Северного полюса. И передающему оттуда бодрые радиogramмы и многословные очерки в газеты и журналы. Уж он-то, по крайней мере до следующего лета, может не бояться ничего, кроме внезапного сжатия льдов. А это такая мелочь...

...Черкая красным карандашом подготовленный референтом доклад по итогам завершившегося 1937 года, Шестаков незаметно задремал.

А когда проснулся внезапно, как от толчка...

Что-то в окружающем его знакомом мире неуловимо, но сильно изменилось. Настолько сильно, что нарком осмотрелся с недоумением. Кабинет был тот же самый, но чем-то и чужой. Круг света из-под глухого черного колпака настольной лампы падал на разложенные бумаги, на пучок цветных карандашей в косо срезанной латунной гильзе 85-миллиметрового зенитного снаряда, раскрытую коробку папирос и стакан недопитого чая в серебряном тяжелом подстаканнике.

Удивили лежащие на столе руки – крупные кисти, покрытые рыжеватыми волосками и россыпью веснушек, большие золотые часы на левом запястье. Не сразу он сообразил, что руки эти принадлежат ему и что он только что спал, уронив голову на локтевой сгиб.

Григорий Петрович явно не был пьян, он вообще не пил сегодня, но состояние чем-то напоминало то, которое бывает, когда опьянение уже проходит, а похмелье еще не наступило.

Или – как если бы его разбудили вскоре после приема пары таблеток люминала. Дезориентированность во времени и пространстве и легкая, неприятная оглушенность.

И почти сразу пришла ледяная ясность мысли и четкость восприятия. Словно близорукый человек впервые в жизни надел подходящие ему минусовые очки.

Он догадался, хотя не в состоянии был объяснить, почему бы вдруг, что арестовать его должны именно сегодня.

Как будто бы совершенно другой человек, непонятно каким образом оказавшийся внутри черепной коробки наркома, подсказал ему это. Человек спокойный, рассудительный и отважный, напоминающий того Гришу Шестакова, каким он был двадцать лет назад, во время своей флотской службы.

За спиной скрипнула дверь. Нарком обернулся. На пороге стояла жена, Зоя, тридцатипятилетняя женщина с красивым, хотя и несколько поблекшим от ежедневно накладываемого театрального грима лицом, в длинной ночной рубашке и наброшенном поверх нее халате.

– Ты почему не ложишься, второй час уже... – спросила она, и не потому, что действительно хотела узнать причину, а так, по привычке, в виде ритуала.

– Не видишь разве, работаю. Завтра коллегия... Иди спи, мешаешь.

Женщина хотела еще что-то сказать, шевельнула губами, но в последний момент передумала, махнула рукой и тихо прикрыла дверь.

На Шестакова нахлынула волна противоречивых чувств – и жалость к жене, и раздражение, и желание позвать ее обратно, излить наконец душу в надежде на поддержку и сочувствие, и опасение, что, признавшись в своих страхах, он даст основание подумать: раз боится – значит, есть за ним что-то...

И параллельно он ощутил нечто вроде ненависти к любимой, в общем-то, жене – при мысли о том, что его вот арестуют, а Зоя станет отрекаться от него, врага народа, на собрании в своем театре клеймить позором... О том, что жену скорее всего арестуют вместе с ним или чуть позже, а сыновей под чужими фамилиями сдадут в детдом, он в своем смятенном состоянии даже не подумал...

«А почему бы тебе не плюнуть на все и не сбежать? – пришла вдруг в голову дикая в его положении мысль. – Нет, на самом деле. Союз большой, где-нибудь в тайге запросто затеряться можно, а там и через границу... – Идея ведь дикая именно для большевика и члена правительства, а для нормального человека? – А если и вправду – прямо сейчас? Деньги и оружие есть. Вызвать служебную машину, еще лучше – такси, рвануть на вокзал или просто на дачу, изобразить несчастный случай на рыбалке – и привет!»

Шестаков дрожащими руками поднес спичку к папиросе. Сумасшедшая идея завораживала. Настолько, что он не сразу сообразил – страх-то исчез! Впервые за месяцы, если не годы. Прошла нудная, как зубная боль, тоска, больше не тошнило, замедлился пульс, спокойным и ровным стало дыхание. Даже намек на выход из безнадежной позиции сделал его почти что другим человеком.

Или – не другим, а как раз самим собой. Тем двадцатилетним юнкером флота, который умел испытывать яростное веселье во время стычек с германскими эсминцами в кипящих волнах Балтики, а чуть позже проявил грозящую смертью изобретательность, выручая арестованного за участие в Кронштадтском восстании друга из лап Петроградской ЧК.

Нарком вышел в ванную, пристально всмотрелся в свое лицо.

Крепкий мужик, нестарый еще, сорок два весной исполнится.

Лицо, конечно, рыхловатое, чуть обрюзгшее даже, с начальственными складками у носа и рта. Одет в полувоенную серую гимнастерку, слева на груди два ордена и депутатский значок. Плечи широкие, пуза нет... Шестаков нагнулся, достал из-под ванны оставшийся после ремонта кусок дюймовой водопроводной трубы, примерился и почти без усилия согнул под прямым углом.

«Так чего же ты мандражишь, братец? – вновь прозвучал в мозгу словно бы чужой голос. – С твоими мышцами и моей подготовкой...»

«Шизофрения? – отстраненно подумал нарком. – Говорят, когда голоса начинаешь слышать, это она и есть. Поехать, что ли, с утра в Кремлевку, врачам пожаловаться, усугубив, разумеется, симптомы? Неплохо, например, профессора укусить за нос и лечь на месяц-другой в нервное отделение. Закосить на инвалидность. Глядишь, и обойдется, кому псих нужен, хоть в тюрьме, хоть в правительстве?»

Вдруг сильно захотелось есть, и Шестаков направился на кухню, где стенные шкафы и последняя новинка – американский электрический холодильник – ломились от деликатесов. Ассортимент кремлевского пайка – как в дореволюционном Елисеевском гастрономе, одна беда – с аппетитом у наркома давно уже неважно, все больше бутербродами да крепким чаем перебивается. По-настоящему ел только под хорошую выпивку на правительственных банкетах.

«Ну ничего, сейчас как следует перекусим и водочки, натурально, употребим, чтобы желудочную секрецию улучшить...»

Но не пришлось наркому впервые за долгий срок полакомиться казенными деликатесами, еженедельно привозимыми порученцем из распределителя на улице Грановского, и даже бутылка новомодной «Столичной» водки, покрытая инеем, осталась нераспечатанной.

То, чего так долго с потным ужасом ждал Шестаков, наконец случилось.

В другом конце длинного, как пульмановский вагон, коридора, в обширной прихожей, грубо и требовательно загремел дверной звонок.

Не успела еще перепуганная жена, которая, таясь от мужа, каждую ночь ждала этого же самого, выглянуть из спальни, не проснулись дети, а нарком, отнюдь не помертвевший от последнего на свободе ужаса, а маскирующий боевой азарт под небрежной улыбочкой (звонок в дверь подействовал на него сейчас, как колокол громкого боя на «Победителе», вызывавший комендоров к орудиям), открыл добротную двойную дверь.

В квартиру ввалились два сержанта госбезопасности² в форме, еще один молодой человек в штатском, но настолько типичного облика, что сомневаться в его ведомственной принадлежности не приходилось, за ними – боец конвойных войск с тяжелым автоматом «ППД» на правом плече, а уже позади всех переминались на площадке профессиональные понятия – лифтерша и дежурный электромонтер.

Бессмысленно-круглое лицо лифтерши выражало слабое любопытство, а монтеру явно хотелось опохмелиться. На обысках, если в квартире обнаруживалась выпивка, ему обычно перепал стакан, а то и больше. Зависимо от степени радушия опера.

– Проходите, товарищи, проходите, будьте как дома... – Шестаков, удивляясь сам себе, отступил от двери, сделал приглашающий жест, только что не согнулся в мушкетерском поклоне со взмахом шляпой до полу.

Оторопевший от такой встречи чекист протянул ему ордер на обыск.

Скользнув глазами по стандартному тексту с факсимиле подписи самого Вышинского, нарком вернул бумагу:

– Не возражаю. Приступайте. А может, сначала чайку? Дело вам предстоит долгое, на улице снег, мороз, ветер... Замерзли, наверное, не выпались. Попьете крепенького, китайского, тогда и за работу. Да я и сам предъявлю все, что вас интересует, чтобы зря не возиться, вы только скажите, что требуется? Письма Троцкого, инструкции гестапо, списки сообщников?..

Наверняка с подобным эти злые демоны московских ночей еще в своей практике не сталкивались. Наоборот – сколько угодно, а чтобы клиент вел себя так...

² Сержант ГБ – спецзвание, соответствует армейскому лейтенанту.

– Вы что, гражданин, пьяны, что ли? Не понимаете, в чем дело?

– Отчего же? Прекрасно понимаю. Сколько веревочке ни виться... А выпить не успел, собрался только. Вы же и помешали. Дурацкая, между прочим, привычка в вашем ведомстве – по ночам людей тревожить. Утром куда удобнее, после завтрака. И вам лучше, и нам... Да вы проходите, проходите, – обратился он к понятным, – не стесняйтесь, присаживайтесь, до вас не скоро очередь дойдет.

Из спальни наконец появилась жена.

– Это что, Гриша? – прошептала она прыгающими губами, сжимая рукой халатик на груди. Все прекрасно поняла, однако же спросила. В надежде – на что?

– Не тревожься, Зоя, товарищи ко мне. Иди пока оденься да чайку согрей, что ли...

Жена вновь исчезла в комнате. Странно, но за ней никто не пошел. Не опасаются, значит, что она может сделать что-то непопозволенное. Уверены в лояльности «врагов народа». Или ордер у них «на одно лицо», члены семьи чекистов пока не интересуют.

– Товарищ лейтенант, может, «санитарку» вызвать, он вроде – того... – попробовал подсказать начальнику выход из положения один из сержантов, повертев пальцем у виска.

– Все они – «того». На каждого врачей не хватит. А если что – в тюрьме разберутся. Петренко, стой у двери. Если кто войдет – задержать. Понятые, садитесь здесь, ждите. А вы приступайте, – приказал лейтенант подручным.

– С чего планируете начать? – поинтересовался Шестаков. – Я бы советовал с кабинета. Там много книг, бумаги в столе всякие. Пока перетрясете, жена оденется, сготовит на скорую руку. Опять же и мне с собой кое-что соберет, если второй ордер, на арест, имеете.

– Мы сами знаем, – огрызнулся лейтенант, решив игнорировать небывалого клиента. – Стойте вот тут и не вмешивайтесь, а то...

Однако обыск начал действительно с кабинета, предварительно позвонив по телефону и доложив кому-то, что на место прибыл и работает по схеме.

– Да. Да. Нет. Все нормально. Нет. Думаю, надолго. Да. Часам к десяти, вряд ли раньше. Да. Будет сделано. Есть. Сразу в Сухановскую? Есть...

Услышанное окончательно расставило все по своим местам. Нарком по-прежнему не понимал, что с ним происходит, но это его больше не смущало. Так человек, решившийся вдруг прыгнуть с парашютом, может бояться, испытывать сердцебиение и дрожь в коленках, сомнение – рискнуть или в последний момент все же воздержаться, – но вряд ли он станет анализировать глубинные причины своего исходного душевного позыва.

Вот и сейчас... Нарком многое знал, слухом земля полнится, да тем более – в кругах весьма информированных людей. Был он, кстати, знаком кое с кем из заинтересовавшегося им ведомства еще во времена Ягоды (надо сказать, против нынешних – времена были весьма либеральные), откуда и усвоил, что Сухановка была самой страшной в стране тюрьмой, специально пыточной, не идущей ни в какое сравнение с Лефортовской, Бутырской и прочими. Лубянские же камеры внутренней тюрьмы вообще могли считаться почти санаторием. До тех, конечно, минут, когда и из них повезут на суд и расстрел.

Но все равно – в прочих тюрьмах и обращение было сравнительно человеческим, и исход не очевиден, из Сухановской же выйти живым шансов практически не существовало. Если не умирали в ходе «следствия», то гарантированно получали «десять лет без права переписки» или просто расстрел, без всяких иносказаний.

Ситуация проявилась до доньшка, и выход из нее Шестаков видел лишь один. Зато отчетливый. Оставалось только решить, как именно исполнить намеченное. Опыта в таких делах у наркома не было, однако он испытывал ничем не объяснимую, но твердую уверенность, что все выйдет как надо.

Глава 2

Нарком прислонился спиной к боковой стенке шкафа, заложив руки за спину. Минут пятнадцать он молча и отрешенно наблюдал за чекистами. Сержанты сноровисто, сантиметр за сантиметром обшаривали комнату, начав с левого от двери угла и двигаясь по часовой стрелке.

Лица у обоих простые, вроде как рязанские, отнюдь не отмеченные печатью интеллекта. Пришли в органы по «комсомольскому набору», имея классов семь образования да потом какие-нибудь курсы по специальности.

Их лейтенант, похоже, покультурнее, скорее всего – москвич, девятилетку наверняка окончил, а возможно, еще и нормальное двухгодичное училище. Чин у него, по их меркам, немаленький, равен армейскому капитану, когда в форме – шпалу в малиновых петлицах носит.

Лейтенант сидел сбоку от стола, писал что-то, положив на колено планшетку. Сколько ему, интересно, раз приходилось заниматься подобным делом, носителей каких громких имен и званий препроводил он на первую ступеньку ведущей в земной ад лестницы?

Мемуары мог бы в старости написать, пожалуй, интересные, только вот старости как раз у него и не будет. Через годик-другой сам станет объектом подобной процедуры, как это уже произошло с чекистами предыдущего, «ягодовского», призыва. А может, и без процедуры обойдется. Пригласят в один прекрасный день к коменданту управления за каким-нибудь пустяшным делом – и пуля в затылок, «не отходя от кассы».

В любом случае долгая жизнь лейтенанту госбезопасности не светит, так что комплексовать по поводу задуманного незачем...

Вот это выражение – «комплексовать по поводу» – было каким-то незнакомым, не входившим в обычный лексикон наркома, однако употребил он его совершенно свободно и даже не удивился. Да и сам ход мыслей...

Впрочем, один из его знакомых сказал в минуту откровенности: «Знаешь, Григорий, сейчас самое опасное – додумывать до конца то, что невзначай приходит в голову. Я себе давно это запретил...»

Шестаков понял тогда, что приятель имел в виду, и не стал эту тему развивать. А теперь, выходит, не удержался, сам начал додумывать все «от и до».

– А у вас там, на Лубянке, какие порядки? – подчиняясь все той же отчаянно-нахальной волне, головокружительно несущей его, как гавайский прибой – серфингиста, нарушил нарком рабочую тишину. – В камерах курить можно? Если можно, я папиросами запасусь. У меня их много. Кстати, если желаете, закуривайте прямо здесь, вон на столе коробка...

Лейтенант поднял голову. Лицо его изобразило страдание. Назойливость клиента выводила из себя, и жутко хотелось ударить его в морду, неторопливо, наотмашь, однако он помнил команду – «обращаться предельно вежливо».

Даже награды и депутатский значок до поры не велено было срывать.

– Я вас просил... не возникать, гражданин? Вот и помолчите, будьте так любезны. Успеваете наговориться, ох и успеете... Скажите лучше – оружие у вас есть?

– Разумеется. В правом верхнем ящике...

Чекист потянул на себя ящик стола, привстав со стула и выворачивая вбок голову.

Сделав длинный выпад, Шестаков обрушил на шею лейтенанта сильнейший, пожалуй, даже чрезмерный удар ребром ладони под основание черепа. Не успел тот глухо ткнуться лбом в раскрытую папку с докладом, как нарком крутнулся на месте, носком до синевы начищенного сапога ударил в висок присевшего у нижних полок шкафа на корточки сержанта, резким толчком выпрямленных пальцев под сердце отбросил к стене второго. И успел придержать его

за португеею, плавно опустил обмякшее тело на ковер, чтобы, падая, оно не произвело лишнего шума.

Выпрямился, машинально поправил упавший на глаза чуб.

Он занимался в молодости боксом, даже пробовал по дореволюционной книжке изучать джиу-джитсу, но больших успехов не достиг. А сейчас действовал так, словно убивать людей руками для него самое обычное дело. Главное – Шестаков был совершенно уверен, что все трое безусловно мертвы, даже и проверять не нужно. И не испытал по этому поводу абсолютно никаких эмоций. Кроме разве удовлетворения от хорошо сделанного дела.

Да, подготовка «ежовских гвардейцев» не выдерживала никакой критики. Любой, наверное, милицкий опер даст им сто очков вперед. Что и неудивительно – воры и бандиты народ серьезный, могут и финкой бока пощекотать, и бритвой полоснуть по глазам, а от наркомов, маршалов и старых большевиков чекисты подвоха никогда не ждали.

Народ дисциплинированный и органам доверяющий. Надо – значит, надо. Даром что у каждого то «маузер» именной, то «браунинг» или «коровин» в кармане штанов, ящичке стола или прямо под подушкой.

И ведь, кажется, за все годы больших и малых терроров случая не было, чтобы хоть один чекист на таких вот задержаниях пострадал. Что-то такое про командарма Каширина рассказывали, который при попытке ареста в личном салон-вагоне принялся шашкой махать, повывбрасывал энкавэдэшников на насыпь и до утра отстреливался, не позволяя голову поднять. Однако убитых все равно не было, а утром к вагону протянули полевой телефон, и лично Ворошилов приказал герою гражданской войны сдаться «до выяснения», гарантируя безопасность. И где сейчас тот Каширин?

Еще про Буденного и его четыре пулемета был анекдот. Все прочие большие и маленькие люди ночные аресты воспринимали как должное.

Или – как заслуженное?

Шестаков отодвинул край шторы и выглянул в коридор. Вохровец с автоматом стволом вниз на правом плече зевал, облокотившись о стену.

Понятые, усевшись на низкие пуфики, переговаривались о чем-то шепотом.

Продолжая выполнять словно бы извне введенную программу, нарком взмахнул рукой с зажатой в ней тяжелой яшмовой пепельницей.

Звук от удара в лоб конвоира (точно в середину суконной звезды на буденовке) получился тупой, едва слышный. Боец подогнул ноги и сполз по стене на пол. Лязгнув стволом и магазином по паркету автомат. – Тихо, тихо, граждане понятые... – успокаивающе сказал Шестаков, покачивая стволом лейтенантского «нагана». – Я вас трогать не собираюсь, только и вы без глупостей. Вы меня давно знаете, так вот, сообщаю вам официально – группа бандитов, бухаринцев-троцкистов, намеревалась, переодевшись в форму наших славных органов, совершить теракт против члена правительства. – Он пощелкал пальцем по своим орденам и депутатскому значку. – Однако я их вовремя разоблачил и обезвредил. Но могут появиться сообщники. Возможна и перестрелка. Поэтому прошу пройти в чуланчик и сидеть тихо, пока не приедут настоящие чекисты и не снимут с вас показания... – С этими словами он втолкнул понятых в комнату без окон, где хранились лыжи, санки, велосипеды детей, приложил палец к губам и запер дверь снаружи.

Потом Шестаков заглянул в детскую, где жена с каменным лицом, тихонько раскачиваясь, как еврей на молитве, сидела между кроватями все еще спящих сыновей.

Жизнь рухнула моментально, и женщина сейчас доживала ее последние минуты. Вот-вот войдут, гремя сапогами, страшные чужие люди, проснутся и заплачут дети – и все...

– Собирайся, Зоя...

– Что? Что такое? Уже? Куда? Всех забирают? – вскрикнула женщина, путаясь в словах и интонациях. Ее словно разбудили внезапно, резко встряхнув за плечи, и она озиралась с недоумением и испугом.

– Я сказал – собирайся. Товарищи поняли, что были не правы. И не возражают, чтобы мы уехали...

– Как? Куда? Что ты говоришь?.. – Она по-прежнему ничего не понимала, зная, что пришедшие с обыском чекисты никогда просто так не уходят, а главное – никогда не видела у своего мужа такого лица и такого взгляда.

– Сейчас мы соберемся и уедем. Возьми себя в руки. Вещи складывай в чемоданы. Как будто мы отправляемся на месяц-два в такое место, где ничего не купишь. В дальнюю деревню. Сама одевайся теплее и удобнее, одевай ребят. Поедем на машине, погода холодная. На все сборы – час... – Он говорил медленно, веско, убеждающе, делая паузы между фразами, словно психотерапевт совсем других времен.

На самом деле времени было сколько угодно. Ныне уже мертвый лейтенант сам сказал руководству, что раньше десяти утра не управится, а сейчас только три. Водитель в машине, на которой приехали чекисты, скорее всего спит, потому собраться можно без спешки.

Но и тянуть незачем, мало ли что...

Нарком продолжал действовать с точностью и четкостью робота. Тела чекистов оттащил в угол кабинета и накрыл ковром, предварительно забрав у них служебные удостоверения и оружие.

В кожаный вместительный портфель сложил все имевшиеся в доме деньги – пачки красных тридцаток и серых банкнот в десять червонцев. Их было много, получал нарком гораздо больше, чем жена успевала тратить.

Туда же посыпались кольца, перстни, браслеты, серьги и кулоны жены (Зоя любила старинные драгоценности и выискивала их с увлечением и азартом, в основном среди театральных старушек «из бывших»), серебряные ложки, вилки и чарки, несколько царских имперIALов, припасенных на случай, если придется делать зубные коронки. В полукруглый «докторский» саквояж побросал «наганы» чекистов и запасные патроны.

Из ящика стола достал длинноствольный спортивный «вальтер-олимпию» калибром 5,6 мм с великолепной точностью боя. А главное – почти бесшумный. Его он решил держать поближе.

Жена в это же время, полностью доверившись мужу, ни о чем больше не спрашивая, укладывала в огромные чемоданы-кофры свою и детскую одежду, обувь, альбом с семейными фотографиями, даже какую-то посуду.

Несмотря на только что совершенное, Шестаков чувствовал себя легко и просто. Как будто не только сделал единственно правильное и возможное в данной ситуации, а вообще наконец-то позволил себе стать самим собой.

И план у наркома сложился очень простой и надежный. Используя резерв времени до момента, пока на Лубянке спохватятся да пока поднимут тревогу, легко отмотать на машине километров триста, а потом и укрыться в надежном месте. До прояснения обстановки.

А место такое имелось, и, что самое главное, – искать его там не придет в голову ни одной казенной душе на свете.

Слегка постукивая зубами от волнения, Зоя заканчивала одевать детей. Старший, одиннадцатилетний Вовка, все время спрашивал, куда они едут и почему ночью.

– К дедушке поедem. На машине. Он нас давно ждет, да все времени не было.

– А сейчас появилось?

– Появилось. Отпуск мне дали. Три года не давали, а сейчас дали.

Шестакову было даже интересно, как легко и складно все у него выходит.

А ведь не решился он «на это», и утром скорее всего или через день-другой веселого, доброго, глазастого Вовку и совсем еще маленького, домашнего, даже в детский сад никогда не ходившего семилетнего Генку втолкнули бы в грязный, вонючий «воронок» и повезли, плачущих, ничего не понимающих, зовущих папу и маму, в приемник для сирот и беспризорников. Навсегда...

Нарком скрипнул зубами от злости и от невыносимой жалости к детям.

Сын же продолжал расспрашивать:

– А в школу как же? Каникулы послезавтра кончаются...

– Успеется. Потом нагонишь. Я в школе договарюсь. Да, не забудь, учебники с собой возьми. Все. Будешь заниматься понемногу. К деду ведь интереснее? На лыжах с горы кататься, на санях с лошадкой. Охотиться будем. Согласен?

– Конечно, согласен. А можно я Никитке позвоню? Скажу, что уезжаю?

– Куда звонить, ночь еще. Письмо напишешь...

Наскоро, но плотно перекусили. Шестаков заставил Зою выпить полстакана водки. Успокоится и в машине, глядишь, подремлет. Сам пить не стал, початую бутылку и еще три полных сунул в портфель, наполнил рюкзак банками икры и деликатесных консервов, красными головками сыра, батонами сырокопченой колбасы.

Вот хлеба оказалось маловато, но не беда, в любом сельпо взять можно. Карточек теперь нет.

– Так, – сказал он жене, когда почти все необходимое было сделано. – Сейчас я спущусь к машине, все уложу, а посигналю – выходите. Сразу же. И до гудка – из кухни ни шагу. – Последнее он сказал жене свистящим, зловещим шепотом. Она поняла не все, но кивнула.

По пути к двери Шестаков вырвал телефонный шнур из розетки. И услышал осторожный, какой-то испуганный стук в дверь чулана.

– Ну, в чем дело? – спросил он, приостановившись.

– Так это вот, Григорий Петрович, – услышал он голос монтера, – по нужде бы надо... Как бы...

Нарком подумал, что действительно, сидеть им тут, может, и до обеда придется. И как же?

Позволил понятым по очереди сходить в ватерклозет, потом вместо чулана направил их в ванную комнату.

– Тут повеселее будет. И напиться можно, и наоборот. Но сидеть по-прежнему тихо, пока не выпущу. А то...

В последний момент, повинаясь движению души, Шестаков бросил через порог на кафельный пол старое пальто, толстое, ватное, с облезшим собачьим воротником. Постелив на пол, отлично поспать можно. И уж совсем от щедрот протянул монтеру бутылку водки.

– Выпей, Митрич, за свое и наше здоровье...

Ему показалось, что монтер едва заметно, но сочувственно кивнул. А может, просто голова дернулась от жаждущего движения кадыка.

Нарком задвинул снаружи щеколдочку, а вдобавок подпер дверь тяжеленным, забитым всяким ненужным хламом комодом.

Надел длинный кожаный реглан на меху, из хромовых сапог переобулся в унты, надвинул на брови каракулевую папаху. В боковой карман сунул именной никелированный «ТТ» – подарок от коллектива завода к двадцатилетию Октября.

Прихватил и автомат конвойного вместе с подсумками тяжелых кривых магазинов.

В три приема снес вниз неподъемный багаж.

Черная «эмка» стояла у выходящей во внутренний двор задней двери подъезда. И водитель, как предполагал Шестаков, посапывал носом, подняв воротник и завязав под подбородком шапку.

К утру морозец окреп ощутимо, и хоть внизу было затишно, над крышами, то слабея, то вновь усиливаясь, свистел порывистый ветер.

«Куда же они меня сажать собирались? – совсем не ко времени удивился нарком. – Вчетвером на заднее сиденье не втиснешься. Или к концу обыска другую машину вызвали бы?»

Шофера он будить не стал. Просто придавил, где нужно, сонную артерию и оттащил легкое тело в подвал. Не постеснялся снять с него и хороший нагольный полушубок вместе с ремнем и кирзовой револьверной кобурой.

Жизнь начинается совершенно другая, пренебрегать в ней ничем не стоит. Словно в «Таинственном острове» Жюль Верна, любая мелочь может оказаться решающей. Вроде как стекло от часов или собачий ошейник.

По-прежнему удивляясь собственному хладнокровию, Шестаков уложил в багажник «эмки» чемоданы, пристроил на полу за спинками передних сидений портфели и рюкзак. Оглянулся на окна дома. Все они были темны. А если кто и выглядывает вниз из-за занавески, шума не поднимет ни в каком случае. Не те люди и не то время.

Сел за руль, с первых же оборотов стартера завел еще теплый мотор. Хотел было, как условлено, посигналить, но спохватился.

Слишком много следов оставлено в квартире, слишком много важных моментов упущено.

И опять, и снова мелькнула в голове Шестакова мысль: «А я-то откуда это знаю? Разве я когда-нибудь занимался убийствами и технологией сокрытия следов преступления?»

Но сам же себе он ответил: «Да о чем ты? Сейчас! Рассуждать будешь? Сообразил – и слава Богу! Действуй!»

Бегом вернулся в квартиру, велел жене с детьми спускаться черным ходом во двор и садиться в «эмку» у порога.

– А я сейчас...

Нет, правда, как же это он забыл?

Шестаков нашел в чулане пустой мешок, сгреб в него из ящиков стола, секретера, буфета блокноты, записные и адресные книжки, всякие прочие накопившиеся за многие годы жизни документы, свои и жены, перевязанные ленточками пачки писем от родных и друзей, которые зачем-то хранила Зоя, посрывал со стен фотографии в рамках.

Чтобы чекистам, когда они начнут розыск, не попало в руки ничего, что может навести на след, подставить под удар посторонних людей.

Есть в наркомате его личное дело с фотографией пятилетней давности – и хватит с них.

Напоследок еще и домашнюю аптечку в красивом белом чемоданчике прихватил, выданную в Кремлевской больнице для поддержания драгоценного здоровья наркома и членов его семьи.

И, в очередной раз задержавшись на пороге, вновь обрадовавшись своей предусмотрительности и здравому мышлению, сделал еще нечто. На первый взгляд – абсолютно бессмысленное. Это могло принести пользу в одном случае из тысячи, но уж если что, так уж...

Шестаков, ухитрившись тронуться с первого раза на незнакомой машине, аккуратно выехал со двора, не слишком разгоняясь, поднялся вверх по Чкалова, на Колхозной площади свернул вправо, на Первую Мещанскую. Перед заправочной станцией у Крестовского моста вышел из машины, погуще заляпал номера грязной снеговой кашей.

Разбудил дебелую тетку в засаленном ватнике, доверху заполнил бензобак и найденную в багажнике двадцатилитровую канистру. Заодно купил большую банку моторного масла. На всякий случай. На какой именно, он сам не знал, поскольку в автомобилях разбирался плохо. Но раз мысль такая появилась, решил ее реализовать. Хуже не будет.

После чего переулками выбрался на Ленинградское шоссе, уже за стадионом «Динамо», не встретив по пути ни одной машины. Самое глухое время стояло, между ночью и утром. Только через час выйдут на линию первые такси и автобусы.

По ровному, чуть припорошенному снегом асфальту он на предельной восьмидесятикилометровой скорости погнал машину в сторону Калинина.

Глава 3

Вились в свете фар снеговые змейки, стремительно пересекающие слева направо пустынное шоссе, упруго дергался в руках тугой руль, ровно фырчал мотор, посапывали на заднем сиденье быстро уснувшие в тепле и темноте мальчишки, молча сидела рядом словно бы вставшая в ступор жена.

И вдруг что-то случилось. Шестаков ощутил мгновенный приступ головокружения, в глазах на секунду потемнело. Ему показалось, что он теряет сознание, и инстинктивно сделал единственно возможное в этой ситуации – убрал ногу с педали газа и плавно, чтобы не потерять управления, начал тормозить.

Но тут же все прошло.

Мир вокруг снова стал отчетливым, и одновременно нарком испытал не страх даже, а ледяной ужас. Впервые по-настоящему осознав, что произошло.

Так, наверное, может себя чувствовать человек, совершивший в пьяном угаре страшное преступление, а утром проснувшийся в тюремной камере и разом все вспомнивший.

Он – всего три часа назад большевик, советский человек, орденосеиц и член правительства – вдруг превратился в преступника, подлинного контрреволюционера и врага народа.

Он, вместо того чтобы подчиниться постановлению Генерального прокурора, принять как должное избранную органами меру пресечения, а уже потом защищаться, доказывая свою невиновность (а в чем? Обвинения ему пока ведь не предъявляли), оказал сопротивление, мало того – убил сразу пять (пять!) сотрудников службы защиты пролетарской диктатуры и сейчас бежит в неизвестность, рассчитывая непонятно на что.

Только что он был уверенной в своей правоте жертвой ложного доноса или просто естественной в период обострения классовой борьбы ошибки, а теперь – тот самый матерый враг, с которыми партия и ее НКВД во главе с товарищем Ежовым ведут непримиримую борьбу...

И он ведь не собирался этого делать, ему и в голову не могло прийти – убивать ни в чем перед ним не виноватых, исполняющих свой долг сотрудников. Какое-то мгновенное помутнение разума. Аффеки?

И как же быть теперь? Развернуть машину и ехать обратно? «Разоружиться перед партией», как принято говорить, предать себя в руки правосудия?

Прощения, конечно, не будет, но по крайней мере еще есть надежда показать, что он не враг... Не закоренелый враг...

Зоя смотрела на него с недоумением.

– Что-то случилось?

Вот тут Шестаков не выдержал и расхохотался нервно. Изумительный вопрос, великолепный.

Да, неужели что-то случилось? Конечно же, нет, что теперь может случиться?

Однако сразу оборвал смех, ответил внешне спокойно:

– Мотор как-то странно гудит. Надо посмотреть. А ты сиди. Спи лучше всего...

Он вышел из машины. Для виду откинул боковую крышку капота. Закурил. Мысли постепенно начали проясняться. И небо на востоке тоже едва заметно засветлело. Не рассвет еще, до рассвета не меньше часа, но намек на него.

Приступ паники прошел. Что сделано, то сделано. Шестаков просто забыл за годы восхождения к вершинам власти, кем является на самом деле. А он ведь действительно с юности был решительным и смелым человеком, умевшим жить своим умом, а не быть добровольным рабом очередного решения ЦК и установок передовицы «Правды».

Слава Богу, что случилась эта вспышка воли и сил. Суждено умереть, так не в вонючем подвале тюрьмы. У него сейчас с собой семь стволов и целая куча патронов. Пусть ежовские прихвостни попробуют его взять. Кровью умоются.

Свобода, впервые после двадцать первого года – полная и абсолютная свобода! Вот если бы не было еще рядом жены и детей...

А главное – не потерять бы снова это чувство раскованности и всемогущества.

Шестаков, вновь обретая душевное равновесие, тронул машину. Прибавил скорости до пределов возможного. Через Калинин лучше проехать затемно. Часы показывали шесть. Даже на «эмке» можно успеть. Трентиньян в «Мужчине и женщине» за полночи тысячу километров пролетел, правда, на «Ягуаре».

Будем предполагать, что в запасе еще четыре полностью безопасных часа. Если... Если не случится что-нибудь непредвиденное. Например – вздумается лубянскому начальству перезвонить своему лейтенанту. Услышат длинные гудки, встревожатся, пошлют на квартиру еще одну группу. Или понятые сумеют выбраться из ванной и поднимут тревогу...

Но даже если и так – пока разберутся в обстановке, доложат кому следует, объявят розыск, передадут команду всем окрестным райотделам и службам госбезопасности искать черную «эмку» с таким-то номером...

Шестаков знал возможности телефонной связи и неповоротливость низовых исполнителей. Сам от этого страдал постоянно. Час или два у него есть даже в самом неблагоприятном случае. Этого должно хватить...

Нарком порылся в портфеле под ногами, одной рукой удерживая руль, нащупал бутылку, протянул жене.

– Открой, глотни. Сил тебе много потребуется. И мне дашь...

Зоя послушно глотнула, и не один раз. Вытерла губы ладонью, подождала, когда выпьет и муж. Вытащила у него из кармана желтую коробку «Дюбека», закурила сама и прикурила папиросу для него.

Шестаков знал, что в театре артистки и покуривают, и выпивают, но при нем раньше Зоя избегала делать это так вот просто и бесцеремонно, почти по-солдатски. Пригубливала за праздничными столами коньяк или шампанское, демонстрируя женскую скромность и чистоту.

Ну что ж, тем лучше, в наступающей жизни жеманность ни к чему, ему нужна решительная и смелая подруга. Если... Если только, узнав правду, она не отвернется от него с гневом и презрением. «Убийца! – выкрикнет. – Фашист! Ненавижу!»

И что тогда делать?

– Так, может быть, ты наконец расскажешь мне, что произошло? – спросила жена спокойным, даже резковатым голосом. – И что будет с нами дальше?

Он коротко, но довольно подробно изложил суть последних событий, опустив, впрочем, все непонятные ему самому детали.

Зоя помолчала, неторопливо и глубоко затягиваясь. Дым, скручиваясь жгутами, улетал в треугольную боковую форточку.

Наконец сказала:

– Вот, значит, как. Спасибо. Приятно хоть перед смертью узнать, что муж у тебя не тряпка под сталинским сапогом, а нормальный мужик...

Слова жены Шестакова поразили. Он и вообразить не мог, что Зоя думает о нем и Великом вожде таким вот образом. Впрочем, что он вообще знал о ней? После короткой поры влюбленности, тринадцать лет назад, жили они, как все. Разговоров на политические темы избегали, да и на обычное, бытовое общение вечно не хватало времени. У него круглосуточная работа с частыми командировками, у нее утренние репетиции и спектакли до полуночи.

Раньше хоть в отпусках да в постели испытывали душевную и телесную близость, а потом и этого не стало. Его, измотанного непосильными нервными нагрузками, почти уже не возбуж-

дало тело жены, которую «вся Москва» считала красавицей и примадонной Вахтанговского театра.

Зоя тоже не пылала страстью. Может, имела любовника на стороне? А то и на самом деле слегка презирала, тщательно это скрывая?

– Таким образом ты меня воспринимала, получается? А не ты ли, кстати, наболтала там, среди своих, чего-нибудь такого, что за мной сегодня приехали?

Зоя зло рассмеялась:

– Хороша же твоя Советская власть, если из-за женской болтовни готова уничтожить своего верного слугу, всю жизнь положившего на ее укрепление. За работу – железка, называемая орденом, за анекдотец – тюрьма. Соразмерно?

– А что, были-таки анекдотцы?

– Может, и были. Много чего было. Мейерхольда за что посадили? А Эрдмана? А всех прочих, хотя бы только из тех, кого я лично знала? Если б только во мне было дело... Какой-нибудь кардинал Ришелье, узнав, что жена его подручного злые шутки про него повторяет, как поступил бы? На гильотину отправил?

Шестаков вспомнил, что Зоя последние годы никаких советских книг не читала, разве что Паустовского и Пришвина, а так только Дюма да Майн Рида с Джеком Лондоном. В дореволюционных приложениях к «Ниве».

– Вот-вот, – догадалась жена, о чем он думает. – А д'Артаньян, если манеры того же Ришелье ему не нравились, что делал?

– Ну-у, ты не сравнивай. Тогда что – загнивающий феодализм, а мы строим...

– Самое передовое в мире общество, глаза б мои на него не глядели... Слава Богу, и тебя допекло! Наконец-то догадался, как мужчина себя в таких случаях вести должен... Только дальше как жить собираешься?

Нарком задумался. Как быть дальше, он знал. Но ему хотелось достойно ответить Зое.

– Что социализм – самое передовое и справедливое в истории общество, мы спорить не будем. Это безусловно. А вот реальная практика его воплощения... Да, перегибы, ошибки, страх перед внешними врагами и внутренней оппозицией... Понятно, но и непростительно.

Скажу о себе. То, что я не виноват ни в чем, ни действиями, ни помыслами, для меня очевидно. И то, что я не совершал ничего, что могло бы дать основания посчитать меня врагом, – тоже. Следовательно, решение арестовать меня – решение преступное.

Не знаю, кем принятое, но явно по причинам, не имеющим отношения к реальной обстановке. Безусловно, вредное для страны. То, что знаю и умею я, любой другой должен будет постигать не один год. А если арестуют еще и моих замов... – Шестаков безнадежно махнул рукой. – Таким образом, враг не я, а...

– Именно так, – согласилась жена.

– Значит, я сегодня ночью находился в состоянии необходимой обороны. Может быть, скоро все изменится, и, сохранив себя, я сделал благо для страны и партии...

Зоя опять рассмеялась:

– Блажен, кто верует. Талдычишь затверженное, как пономарь. Успокаивай себя, если так легче. А я бы тебе посоветовала окончательно избавиться от подобных мыслей и думать впредь только о нас, о нашей семье, о том, как спастись и выжить. Если угодно – мы с тобой против всего мира. На меня можешь положиться...

Поразительно! Богемная, поглощенная только своими ролями и желанием взять все, что возможно, от высокого положения мужа, женщина теперь представлялась в совершенно ином свете.

И ночью в квартире он думал, что она впала в полную прострацию, не видит и не понимает ничего, а оказалось иначе. Все она видела и все запомнила, в том числе – какое оружие у них было дома и куда он его положил.

Зоя как раз нагнулась к стоящему возле ее ног саквояжу и достала оттуда изящный, штучной работы «вальтер» в мягкой кобуре из желтой кожи. С такими точно десятизарядными красавцами немецкие спортсмены взяли все медали по скоростной стрельбе на Олимпиаде 1936 года.

Проверила обойму, передернула затвор и сунула пистолет за отворот шубки.

Он учил ее стрелять на даче именно из этого пистолета, но сейчас его поразило, как непринужденно она с ним обращается. Словно разыгрывает на сцене соответствующий этюд.

Зоя еще повозилась в саквояже, пока не отыскала там плоскую коробочку с полусотней золотистых «целевых» патронов. Опустила ее в карман.

– Вот так. Теперь я тоже буду защищать себя и своих детей до последнего... Куда мы едем? К финской границе?

Ему вдруг подумалось: а что, если Зоя не только популярная актриса и мужняя жена, а иностранная шпионка или член антисоветской террористической организации? Уж больно уверенно и адекватно моменту она себя держит.

«А сам-то ты кто теперь? – спросил Шестаков себя. – Будем считать, что оба мы члены теперь одной организации и едем к третьему...»

Глава 4

...Гриша Шестаков окончил 4-е реальное училище на Васильевском острове в 1914 году, держал экзамены в Кронштадтское морское инженерное училище, но не прошел по конкурсу и через неделю после начала мировой войны поступил на 1-й курс Петербургского Технологического института. Однако мечту стать флотским офицером он не оставил и в 1915 году, когда возникла угроза призыва в армию, подал рапорт о зачислении в юнкера флота, что соответствовало чину вольноопределяющегося первого разряда, но давало возможность после двух лет службы и сдачи не слишком трудных экзаменов быть произведенным в мичманы. А за боевые заслуги – гораздо раньше.

К его счастью, он не успел до февральской катастрофы сменить черные юнкерские погоны на золотые офицерские.

Отвоевав год на эскадренном миноносце «Победитель», юнкер Шестаков, по протекции командира, для удобства подготовки к экзаменам перевелся на линкор «Петропавловск». При условии возвращения на родной корабль после производства.

Вначале потерявшийся после эсминца, где все было понятно, ясно и знакомо, на «острове плавающей стали», каковым являлся гигантский дредноут с тысячью стами человек команды и полусотней офицеров, юнкер достаточно быстро освоился. И даже подружился, если этот термин здесь уместен, со своим непосредственным начальником – флагманским минером бригады старшим лейтенантом³ Власьевым.

Григорий сразу почувствовал к новому командиру уважение, быстро перешедшее в восхищение. Вот таким офицером он и сам мечтал стать – изящным, остроумным и ироничным, всегда в свежайшем кителе и крахмальных манжетах, не теряющимся перед начальством и шутиливо-вежливым с матросами.

Власьев помогал бравому и сообразительному юнкеру с учебниками, беспрепятственно отпускал на берег для занятий в гельсингфорсской библиотеке, делился собственным практическим опытом и обещал замолвить слово перед председателем флотской экзаменационной комиссии, с которым вместе учился в Отдельных офицерских классах.

Он же отсоветовал Григорию немедленно произвестись в прапорщики по адмиралтейству, что позволялось полученным Шестаковым Знаком отличия военного ордена IV степени.⁴

– Зачем вам это, юноша? – покачивая носком белой замшевой туфли, спросил старший лейтенант, потягивая шиттовское пиво из высокого стакана. Юнкер деликатно сидел на краешке командирской койки в тесноватой, чуть больше вагонного купе первого класса, но все равно великолепной, поскольку одноместной, каюте. Прелесть этого может понять только человек, два года подряд не имеющий возможности уединиться даже и в гальюне. – Дадут вам «мокрого прапора» и немедленно кинут командовать рейдовым тральщиком или минзагом из бывшей баржи. Ноль удовольствия и девять шансов из десяти, что больше месяца не проживете. Плюньте, Гриша. Полгода всего перекантуйтесь, а на нашей коробке это нетрудно, и станете нормальным мичманом. С двумя солдатскими крестами вы уже будете очень комильфо в кают-компании, да и «клюква»⁵ вам очистится автоматически. После победы начнутся непременные визиты в Тулон и Скапа-Флоу, значит, еще и иностранные орденочки нам с вами навешают. Да что там, Григорий Петрович, жизнь вас ждет вполне великолепная.

³ Чин старшего лейтенанта императорского флота примерно соответствует званию капитана III ранга современного флота.

⁴ В просторечии – Георгиевский крест.

⁵ «Клюква» – просторечное название низшего офицерского ордена за личную храбрость, св. Анны IV степени, обозначавшегося малиновым темляком на шашке или кортике.

После слов старлейта дальнейшая карьера теперь рисовалась Шестакову прямой и надежной, тем более что действительно представление на крест III степени за участие в набеге на немецкий конвой в Норчепингской бухте было на него уже подписано.

Дураком же, как следует из всего вышеперечисленного, юнкер Шестаков не был, проявив должный героизм и отвагу, достаточные для самоуважения во всей последующей жизни, он не возражал и против комфортного, гарантированного будущего.

В то же время, едва ли не инстинктивно, Григорий продолжал жить в матросском кубрике, отнюдь не согласившись на переселение в кондукторский, исполнял обязанности младшего унтер-офицера по минно-торпедной части.

После эсминца, с еженедельными выходами в море, минными постановками, стычками с немецкими крейсерами, залповой торпедной стрельбой по реальной цели, служба при подводных аппаратах линкора, который вообще ни разу не выдвигался за Ганге-Порккала-Уддскую минно-артиллерийскую позицию, казалась до невозможности пресной.

Зато – настолько же и спокойной. Можно было спать, читать, развлекаться в доступных пределах и не беспокоиться о шансах выжить в очередном походе.

«Едем дас зайне»⁶, короче говоря.

Для простоты общения с товарищами Шестаков не носил на погонах двух положенных золотых басончиков и трехцветного канта, отчего многие даже и не подозревали о его «полугосподском» положении. А благодаря грамотности и «пониманию» его записали в «сочувствующие» сильной и многочисленной на «Петропавловске» подпольной большевистской организации.

Не сказать чтобы Шестаков так уж увлекся именно большевистскими идеями, эсеровская программа в чем-то была ему даже ближе, но сыграла роль личность руководителя, умного, степенного и рассудительного гальванерного кондуктора Мельникова. А тот не просто уважал толкового минера, но и имел на него далеко идущие виды. Вот-вот юнкер станет мичманом, а офицеров – членов партии на линкоре пока что не было.

Но тут, неожиданно для самих революционеров, грянул февраль семнадцатого года.

За ним последовали кронштадтская и гельсингфорсская «большая резня», когда одуревшие от воли и четырехлетнего тоскливого безделья на стальных коробках (за всю войну линкоры 1-й бригады ни разу не выходили в море) матросы сотнями расстреливали, кололи штыками, топили в море ни в чем не повинных офицеров и адмиралов. За когда-то полученный наряд вне очереди, за строгость по службе, просто за золотые погоны. Или за понравившийся перстенок на пальце, за именные часы...

Заблаговременно узнав о готовящемся побоище, Шестаков предупредил старшего лейтенанта и больше недели прятал его в отсеке подводных минных аппаратов, пока не схлынула кровавая волна. Только на «Петропавловске» тогда было убито девять офицеров. Еще несколько просто не вернулись из города, и судьба их осталась неизвестной.

А всего за эти дни Балтфлот потерял несколько сотен офицеров и адмиралов, причем, по странному совпадению, наиболее талантливых и авторитетных. Словно бы не стихийный взрыв то был, а тщательно спланированная акция.

После Ледового перехода из Гельсингфорса в Кронштадт, спасшего флот от захвата немцами (за что комфлота Щастный поплатился головой, расстрелянный по приказу Троцкого, а может, и самого Ленина), Шестаков с Власьевым продолжали службу на линкоре. Бывший старший лейтенант, превратившийся в просто военмора, и бывший юнкер, избранный в члены Центробалта, но не пожелавший оставить свою почти матросскую должность.

Карьера гардемарина Ильина, ставшего командующим Каспийским флотом Раскольниковым, или пресловутого Дыбенко его не привлекала. А отправляться в какую-нибудь Конную

⁶ «Каждому – свое» (нем.).

армию, командиром бронепоезда вроде Железняк он считал тем более глупым. Дослужить свое, пока не кончилась война, а потом возвратиться в институт – так он видел собственное будущее. В новом, Красном флоте служить ему не хотелось. Не тот кураж. Ну а пока, с умом и соответствующим общественным положением, жить на линкоре было можно. И даже неплохо по меркам того времени.

Но отсидеться не удалось. Сначала Шестаков не устоял перед постоянным и жестким давлением и все же вступил в члены РКП, а потом почти незаметно для себя оказался в штабе флота на почти адмиральской должности.

Ну что ж, если верить словам Ленина, который заявил, что они взяли власть всерьез и надолго, надо было как-то устроиваться и при этом режиме. Тем более что заниматься ему по-прежнему приходилось не политикой, а все теми же минами и торпедами.

Так прошли незаметно целых три года, и вдруг грянул Кронштадтский мятеж. Тайно, но люто ненавидевший большевиков Власьев немедленно примкнул к восставшим, на что-то еще надеясь.

Однако – не удалась попытка прозревших на четвертом году революции моряков добиться «власти Советов без коммунистов». Поспешили восставшие, не дождались, когда лед в Маркизовой луже разрыхлится так, что пехоте не пройти, а линкоры, наоборот, смогут дать ход. Тогда судьба Советской власти действительно повисла бы на волоске.

Не зря Ленин признал сквозь зубы, что Кронштадт – это страшнее Колчака и Врангеля. Естественно, восстали ведь не какие-то недобитые буржуи, а краса и гордость революции – балтийские матросы. И к ним готовы были присоединиться пролетарии питерских заводов.

Увы, не получилось. Не удалось даже уйти на линкорах в некогда родной для флота Гельсингфорс. Победили большевики, по колено в крови ворвались в крепость и уж рассчитались за пережитый ужас. Расстреливали каждого десятого из выстроенных шеренгами мятежников, многих с камнем на шее топили в море, как в известном фильме «Мы из Кронштадта».

Своеобразный фрейдистский комплекс проявился у создателей этого фильма: вынести в заглавие название пресловутого и ненавистного города, а варварский способ казни революционных матросов переадресовать белым. Перекинуть, так сказать, стрелки.

Нельзя сказать, что Шестаков сочувствовал идеям мятежников, однако, по извращенной логике времени, втайне желал им победы. Просто так. По украинской поговорке: «Хай гирше, та инше»⁷. Назло комиссарам.

А на другой день после окончания боев его вдруг вызвали к замнаморсибалту.⁸

От услышанного у Шестакова сразу пересохло во рту. Победа над собственной военно-морской базой реально угрожала превратиться в свою противоположность.

То ли от шального снаряда, то ли от случайного или намеренного поджога загорелся форт Павел, в двух милях от Котлина. А на его складах, кроме нескольких сотен гальваноударных мин заграждения образца 1908 года, хранилась чуть не тысяча тонн тротила в огромных слитках.

Когда до него дойдет огонь, он сначала начнет плавиться, будто стеарин или воск, потом загорится, а потом... Может быть, так и сгорит, пузырясь, дымя и воняя, а возможно, и рванет, если хоть в одном-единственном месте температура достигнет критической точки. Какой именно – никто не знает, слишком от многих факторов она зависит. Качество очистки, наличие примесей, влажность и так далее и так далее... Но если рванет, мало что останется и от города Кронштадта, и от кораблей на большом рейде, да и Петрограду не позавидуешь.

Особенно если сдетонируют склады боеприпасов на фортах Тотлебен и Обручев, в самом Кронштадте, крют-камеры линкоров...

⁷ «Пусть хуже, но по-другому».

⁸ Зам. начальника морских сил Балтийского моря.

– Я не знаю, что там можно сделать, – с тоской в голосе сказал зам, бывший кавторанг с дивизии подводных лодок, – но что-то делать надо. Мины тоже взрываются, но пока по одной – по две. И от минных погребов до склада тротила – две сотни сажен. Вдруг пронесет? Короче, вы минер, а я лишь штурман... Поезжайте, посмотрите. Я предоставляю вам неограниченные полномочия...

Едва сторожевик отвалил от стенки, стала видна темная клякса на фоне лимонного закатного неба. Потом донеслись глухие, словно сквозь вату, удары. Мины, понял Шестаков. Взрывающиеся под тяжелыми сводами крепостных подвалов мины.

«Что, в самом-то деле, там можно сделать?» – думал, стоя у парусинового обвеса мостика и куря одну за другой скверные папиросы, Шестаков. И командир сторожевика, бывший «черный гардемарин», и матросы, которых теперь следовало называть военморами, были мрачны и неразговорчивы. Да и то... Если тротил взорвется, двухсоттонный кораблик просто сдует с поверхности моря, как пушинку с рукава.

По искромсанным снарядами, заваленным битым кирпичом улицам Шестаков добрался до помещения временного штаба. По пути он старательно обходил густые подтеки крови на брусчатке, еще не убранные трупы – и защитников крепости, и атакующих.

Предъявил свои полномочия, получил еще одну бумажку, уже от сухопутного командования, и отправился искать кого-нибудь уцелевшего из минных специалистов. Рассчитывая, между прочим, именно на Власьева.

Через час он узнал, что бывший старший лейтенант арестован в числе не успевших бежать в Финляндию организаторов мятежа и содержится на флотской гауптвахте.

Поначалу Шестаков испытал только досаду, что вот, мол, срывается план с помощью Власьева что-то придумать с этим поганим тротилом, дым от которого уже накрыл остров бурой, воняющей, как миллион сгоревших расчесок, тучей. И только чуть позже сообразил, что тротил – тротилом, а старлейта могут банальнейшим образом расстрелять. И спасти его сейчас может только он с помощью вот этих жалких на вид, отпечатанных на рыхлой серой бумаге мандатов.

Начальник полевой ЧК Южной группы, взявший на себя всю полноту власти в первоначальном (а для многих – и окончательном) дознании, поначалу не захотел с ним и говорить.

– Знаем мы ваши офицерские штучки. Вам бы только своих отмазать. Еще и с тобой разобраться не мешало бы.

Шестаков испытал мгновенный прилив ярости. Тем более – хорошо подкрепленной солидными бумагами.

– Ты что о себе воображаешь,!!! – Он наскоро сконструировал из пресловутого «загиба Петра Великого» и еще нескольких загибов попроще впечатляющую, особенно для сухопутного еврея в очках, тираду. – Во-первых, я тебе не офицер, а кадровый матрос призыва пятнадцатого года и член эркапы⁹ вдобавок! Во-вторых – сюда иди! – и почти силой подтащил за рукав товарища Штыкгольда к окну. – Ты видишь? Ты это – видишь?! – тыкал он пальцем в и без того треснувшее стекло, указывая на окутавшую форт тучу дыма.

Очень вовремя сквозь тучу просверкнуло алым, раздался еще один гулкий взрыв.

– В любую минуту может рвануть так, что не только от нас с тобой, но и от товарища Троцкого в Смольном портянок не останется, а ты мне, такой-то, городишь про классовое чутье и офицерскую солидарность! Нам с тобой на колени перед тем старлейтом стать надо, чтобы он,, согласился сейчас туда полезть и поглядеть, что пока еще сделать можно... А будешь дальше..... я Троцкому же и позвоню, он тебя самого на форт лезть заставит. И там раком стоять, поскольку ничего другого ты в минном деле не рубишь! Не веришь... такой и растакой? Читай бумагу! Соображаешь – «неограниченные полномочия»!

⁹ РКП – Российская Коммунистическая партия.

И, как бы между прочим, положил ладонь на болтающуюся у левого бедра коробку тяжелого «маузера»-девятки. У комиссара на краю стола лежал почти такой же, но ответного движения к оружию Штыкгольд не сделал.

– Ну что вы, что вы, товарищ, зачем же так сразу нервничать? Забирайте вашего золотопогонника, черт с ним. Только распишитесь вот, номер мандата проставьте и обязуйтесь после окончания работ вернуть арестованного по принадлежности...

Дальнейшее было проще простого. Тротил, по счастью, так и не взорвался, частично расплавившись, частично выгорев. От форта тоже мало что оставалось, когда бабахнула последняя мина и на покрытую толстым слоем жирной сажи полосу берега у основания восточного гласиса высадились десантная партия.

Под грудами обрушившихся гранитных блоков Шестаков увидел перемешанные с грязью ошметки человеческих тел. Может, останки оборонявшихся здесь мятежников, а может – добровольцев, пытавшихся потушить пожар в самом начале.

– Вот, Николай Александрович, склоните голову, – не к месту шутливо сказал Шестаков. Впрочем, когда угроза катастрофы миновала, ему и вправду было легко на душе и весело. – Отныне – это все, что осталось от погибшего геройской смертью военмора Власьева.

Спрятав товарища в трюме сторожевика, Шестаков вновь явился в ЧК. Доложил Штыкгольду как о благополучном завершении своей миссии, так и о случившемся с Власьевым.

– Все мелкие и крупные фрагменты тела собраны, запакованы в брезент и находятся в данный момент на шканцах «Кобчика». Прикажите забрать.

Чекист поморщился:

– Отчего именно он погиб?

– Оттого, что возвращаться к вам ему, наверное, хотелось еще меньше. Вот и полез в подвалы, когда неясно было, все мины взорвались или нет. Оказалось – не все. Тем не менее именно он сумел определить критические точки и рассчитать количество воды, которую мы подали брандспойтами на горящий тротил, чтобы снизить температуру до режима обратной кристаллизации.

Шестаков говорил ерунду с абсолютно серьезным видом, будучи уверен, что чекист, бывший аптекарь или портной, проглотит и не такое.

– Так будете забирать останки или как?

– Зачем он нам теперь? Похороните сами, как там у вас во флоте принято.

– На флоте погибших в бою обычно хоронят в море, если нельзя на берегу. Будем считать, что нельзя. В общем, я пошел, браток. Рад был познакомиться. Заходи в Главморштаб, если что...

И уже на пороге обернулся:

– Да, вот еще забыл. Мы ведь, как ни крути, офицеру этому кое-чем обязаны. Жизнью, например. Так ты того, повычеркивай отовсюду, что он там... В контрреволюции подозреваемый. Если что и было – искупил.

– Зачем? – искренне удивился Штыкгольд.

– Как бы тебе подходчивее объяснить? Он же военспец, подписку соответствующую давал. Теперь вы его посмертно врагом объявите, а у него, может, семья, дети есть. Попадут по закону под репрессии. Зачем это? Его бы по делу к ордену представить, ну да уж ладно... – Сердобольный ты очень, товарищ. Даже странно – боевой матрос, и вдруг... Все-таки слишком вы долго на своих коробках рядом с господами жили... Однако, из уважения, пойду навстречу. Где тут у нас материалы?

И на глазах у Шестакова чекист разыскал в груде документов на столе тонкую картонную папочку, бегло просмотрел ее содержимое, показал написанную бледными чернилами фамилию на обложке и, поднатужившись, разорвал картон пополам, еще пополам и бросил обрывки в урну под столом.

– Все. Нету больше заговорщика и контрреволюционера Власьева. Докладывай там у себя, что погиб при исполнении. Еще, глядишь, и пенсия детям выйдет, если они у него были...

– Молодец, браток, это по-флотски. Давай пять...

– Ну, чтоб вам хоть две еще недельки подождать, Николай Александрович, – сказал он своему бывшему командиру вечером, когда они сидели в питерской квартире Власьева на Гороховой улице и пили слабо разведенный казенный спирт. Шестаков теперь тем более не сочувствовал идее мятежа и оценивал лишь его техническую сторону.

Старший лейтенант только криво усмехался и подливал в стаканы.

– Не вышло, значит, не вышло, Григорий Петрович. Таких шансов больше не будет. Решил я плюнуть на все и уйти в частную жизнь. Спаси вы меня спасли, но это ненадолго. Хотя я теперь и покойник, но в Питере мне оставаться нельзя. Поможете еще раз – документами новыми обзавестись и проследить, чтобы мои послужные списки навсегда в архив ушли, – буду благодарен. А там кто знает, как еще все повернется...

– А отчего же вы, Николай Александрович, в Финляндию не двинули, вместе со своими? Тысяч десять, говорят, успели по льду на тот берег перебраться.

– Черт его знает. Будем считать – не успел сориентироваться. Все казалось – удержим Кронштадт. По уму ведь – даже при взятом городе, что ОНИ могли линкорам сделать? Восемь метров надводного броневых бортов, это почище любого рыцарского замка! А пушки? Да что теперь говорить, кишка тонка у матросиков оказалась. Но главное – не прельщает меня, знаете ли, эмигрантская жизнь. Ну что я там стал бы делать? На флотскую службу рассчитывать нечего, а другого я ничего и не умею... В таксисты наниматься, в официанты или в Иностранный легион? Избави Бог. Я уж лучше здесь как-нибудь...

И действительно, когда Шестаков с помощью знакомых делопроизводителей оформил ему формуляр инвалида гражданской войны и все положенные справки, подтверждавшие, что с 1914 по 1921 год военмор Власов (теперь – так, простонароднее вроде) проходил службу в качестве матроса царского и младшего командира Рабоче-Крестьянского флота, что призывался он по мобилизации из запаса в городе Ревеле (и, следовательно, никаких его документов на территории РСФСР нет и быть не может), бывший старший лейтенант уехал из Питера в Тверскую губернию, в Осташковский уезд, где и устроился сначала бакенщиком, а позже – лесником и егерем на одном из самых глухих кордонов.

Уехал именно туда, потому что не было у него в подчинении никогда матросов из этих мест, а в то же время – работа на воде, почти по специальности.

С начальством своим он виделся в основном в дни выдачи заработной платы да когда привозил в уезд гостинцы в виде копченых кабаньих окороков, битых уток, вяленых сметков и тому подобных даров природы. Был на хорошем счету, хотя и слыл человеком нелюдимым и не совсем нормальным вследствие давней контузии.

Главное – не задевали егеря никакие политические кампании, коллективизации, пятилетки и прочие глупости реконструктивного периода.

Так он и просуществовал благополучно и неприметно до ныне описываемых событий.

Шестаков же, отмеченный за подвиг орденом Красного Знамени в числе более чем пяти-сот героев подавления мятежа, продолжил избранный путь, приведший его в начале 1936 года в кресло наркома не слишком заметного, но важного оборонного наркомата.

А с Власьевым он продолжал поддерживать отношения. Пусть и нерегулярные, но теплые. И в годы длившейся еще несколько лет флотской службы, и позже Шестаков от случая к случаю выбирался на затерянное в дремучих, доисторических лесах озеро, чтобы вволю поохотиться и порыбачить.

Причем конспирация при поездках соблюдалась железная. Удалось сделать так, что даже предположить о каких-то личных отношениях между высоким московским гостем и диковатым егерем не мог никто. Заблаговременно Шестаков связывался с секретарем Калининского

обкома, в условленный день его встречали, везли на казенную дачу под Осташковом, окружали соответствующей рангу заботой, а уже потом любящий уединение и рыбалку с лодки нарком разбивал палатку на берегу огромного безлюдного острова Хачин. Тогда и появлялась возможность удалиться на моторке в лабиринт протоков и плесов загадочного озера Селигер, провести день-другой в обществе старого боевого товарища.

Зачем он это делает, Шестакова подчас удивляло. Риск по тем временам был не слишком большой, за минувшие полтора десятилетия политических и кадровых бурь, прочих государственных катаклизмов вряд ли остались люди, способные даже вообразить, что полудиккий, похожий на оперного Мельника Лексаныч и блестящий офицер старого флота – одно и то же лицо, но все же, все же...

Главным была ведь не опасность разоблачения Власьева и роль наркома в его судьбе, а сам факт этой связи. Его нравственная составляющая. Выходило, что Шестаков не только скрыл от партии свое пособничество ярому врагу Советской власти, но и продолжал поддерживать с ним отношения даже сейчас. С какой, простите, целью? Не тайны ли военные передавать?

И, значит, вполне «товарищ Шестаков» мог быть отнесен к числу «троцкистских и иных двурушников» («иных» – как раз его случай).

Вот и приехали! Выходит, что не так уж были не правы «органы», решив его арестовать.

Пусть дружба с «белогвардейцем» вряд ли фигурировала бы в формуле обвинения, но честно смотреть в глаза следователям и судьям, убеждая их в своей невинности и абсолютной преданности партии и Советскому правительству, он бы уже не мог. Утратил моральное право.

«Проклятая жизнь, – думал подчас Шестаков. – У Владимира Ильича брат был повешен за попытку цареубийства, а ему позволили окончить гимназию с золотой медалью и университет. У нас же могут расстрелять за то, что встретился с другом, который целых двадцать лет назад служил не той власти или десять лет назад на партийном собрании проголосовал не за ту резолюцию, пусть и выносилась она на обсуждение одним из членов тогдашнего Политбюро, ближайшим соратником Ленина...»

Оттого, наверное, и продолжал он встречаться с Власьевым, что эта дружба помогала ему сохранять остатки самоуважения, считать, что есть у него в глубине души уголок, не подвластный Комиссии партийного контроля. Мол, дело свое я делаю, и делаю хорошо, а в это – не лезьте.

Короче говоря – прав был товарищ Сталин. Пока не выжжем каленым железом буржуазные пережитки в сознании, смешно и думать о полной и окончательной победе социализма.

И зря нарком Шестаков удивлялся, отчего это вдруг так неожиданно у него с товарищами чекистами не по взаимно принятому сторонами этикету вышло.

Глава 5

Когда окончательно рассвело, позади остался уже и Торжок. В машине было холодно. На Горьковском заводе сочли излишним ставить на свою продукцию обогреватели, которые имелись на американском прототипе «Форд-6», и при закрытых окнах боковые и лобовые стекла сразу же начинали обмерзать.

Приходилось держать открытой треугольную форточку, через которую ледяной ветер выгонял из салона даже те жалкие калории тепла, что поступали от работающего мотора. Зато Шестакова не клонило в сон.

С наступлением утра опасность возросла. Если чекисты начнут тотальный розыск, какой-нибудь постовой милиционер, штатный или внештатный сотрудник органов, как раз сейчас спешащий на работу, просто не в меру наблюдательный обыватель сможет вспомнить промелькнувшую мимо черную «эмку».

На Ленинградском шоссе еще не так страшно, движение пусть и не слишком оживленное, но среди встречных и попутных «полуторок», «ЗИС-5», «ГАЗ-А» попадаете достаточное количество неразлично одинаковых черных горьковских легковушек, а вот когда придется свернуть на узкие грейдеры и проселки между райцентрами... Но тут уж ничего не поделаешь, остается путать следы и надеяться на удачу.

В одном повезло – начиналась метель.

Густо пошел снег, усиливающийся ветер завивал вдоль дороги белые вихри, видимость упала до полусотни метров.

Шестаков еще придавил педаль газа. Быстрее, быстрее, а то раньше чекистов может вмешаться стихия, сделает непроезжими известные наркому лесные просеки. Хорошо, что последние недели стояли крепкие, почти бесснежные морозы, грунт промерз до гранитной крепости, можно надеяться, что в ближайшие часы больше двадцати-тридцати сантиметров снега не выпадет. Покрышки на задних колесах «эмки» почти новые, с высокими грунтозацепами «в елку».

Через большое село Кувшиново Шестаков проехал в такой белой круговерти, что едва видны были избы по сторонам дороги. Свернул на накатанный санями тракт вдоль железной дороги, ведущей на Селижарово.

В известном месте принял вправо и углубился в лесные дебри. Глядя по сторонам, легко и просто было вообразить, что вокруг – не двадцатый, а как минимум семнадцатый век, времена Ивана Сусанина. Ни столбов с телефонными и электрическими проводами, ни даже самых глухих, в три-четыре дома деревень.

Огромные мачтовые сосны, как на картинах Шишкина, дремучие ели, опустившие до земли раскидистые черно-зеленые лапы, покрытые снегом, глубокие, заболоченные летом распадки по сторонам дороги, через которые зачем-то переброшены длинные бревенчатые гати.

Обычно здесь часто попадались ревущие трелевочные трактора, конные обозы, тянущие срубленные в окрестных леспромхозах сосновые хлысты, а сейчас тихо, пустынно, страшно-вато даже. Заглохли невзначай мотор, и вряд ли удастся с женой и детьми добрести до ближайшего жилья.

Проснулись Зоя и ребята, пришлось остановиться по надобности, заодно и перекусить. Шестаков запоздало пожалел, что не догадался набрать горячего чая в термос. Мальчишки начали ныть, томимые жаждой, и нарком сообразил растаивать снег в кружке, поставленной на горячий блок мотора.

– Мы прямо как полярники сейчас, папа, – сказал старший, запивая бутерброд тепловатой безвкусной водой. – Они ведь тоже из снега и льда воду добывают?

– Из чего же еще? Ничего, скоро доберемся, там и чаю попьем, и шей поедим.

– А волки здесь водятся? – опасливо поинтересовался младший.

– И волки, и медведи, и лоси...

– Они нас не съедят?

– Как же, съедят, – возразил Вовка. – Видел, вот настоящий автомат лежит, а еще у папы пистолет есть.

– Можно я с автоматом поиграю? – спросил Генка, заблестев глазами.

– Играй, чего же... – Шестаков вынул из «дегтярева» плоский кривой магазин, передернув затвор, вытряхнул на ладонь патрон. – Только осторожней, стекла стволом не повыбивайте.

Поехали дальше. Мело совсем уже свирепо, и дважды машина забуксовала в заносах. Но выбрались. Теперь Шестаков, заметив впереди опасное место, загодя переключался на вторую скорость и вел «эмку» на постоянных оборотах, стараясь без нужды не дергать руль.

– Доедем? – тихо спросила Зоя, повернувшись к мужу.

– Должны. Бензина еще полбака, не считая, что в канистре, машина вроде надежная. Уже двадцать километров никого не встретили. Правда, скоро рискнуть придется. Через Осташков я не поеду, там тупик, дорога кончается, если на глаза кому попадемся, нас легко вычислят...

– А как же?

– Есть идея...

Идея была и вправду рискованная, Шестаков обдумывал ее уже второй час и понимал, что иного выхода просто нет. Ну а если что – смерть будет быстрая и легкая.

Через полчаса мучительно медленной езды вдоль берега совсем здесь узкой, ничуть не похожей на великую русскую реку Волги машина остановилась на краю пологого спуска. Впереди, сколько мог захватить глаз сквозь крутящуюся снежную пелену, простиралась гладкая, как бильярдный стол, равнина.

Селигер. Длинный и узкий его рукав, тянущийся отсюда до самого Осташкова и дальше выводящий на озерный простор.

Шестаков спустился на лед, присыпанный сверху тонким слоем жесткого снега. Прихваченной из машины монтировкой долго долбил звонкий синеватый панцирь озера. Углубился сантиметров на двадцать, но на близкую воду не было и намека. Хорошо.

Морозы держались с начала декабря, можно было надеяться, что ледяной покров достигает и полуметра, и больше. Машину выдержит, главная опасность – случайная полынья. Теплые ключи на дне или еще что-то...

Снова вспомнился Кронштадт. Там даже в марте лед пробивало только разрывами тяжелых снарядов линкоров и крепости, трехдюймовые рикошетировали.

А в финскую войну, кажется, на лед карельских озер бомбардировщики спокойно садились.

«Что вдруг за финская война?» – удивился он неожиданной мысли.

Шестаков совершенно точно знал, что никакой такой финской войны, кроме разве кампании 1809 года, не было и быть не могло, но одновременно отчетливо представлял, что вроде бы была и даже какие-то подробности вот-вот удастся вспомнить.

Но они пока ускользали, как воспоминание о недавнем сне.

Одним словом – шансы есть, и неплохие. Главное, под прикрытием пурги можно проскочить незамеченными мимо города, и, значит, никому в голову не придет искать их здесь.

Если машина замечена в Торжке, скорее всего чекисты будут искать вдоль трассы Новгород – Ленинград, а если они попались кому-то на глаза в Кувшинове, то логично будет предположить, что беглецы двинулись в сторону Ржева и Великих Лук.

То есть в любом случае вывод очевиден – беглый нарком пробивается к границам: финской, эстонской, латвийской. Там и будут караулить и искать. А где же еще?

Жене он ничего не сказал. В географии и топографии она все равно не разбирается и не сообразит, где едут. Ну а если не повезет – машина уйдет на дно в доли секунды. И ахнуть не успеешь. Как утонул в полынье между Ленинградом и Кронштадтом вице-адмирал Дрозд.

Ориентируясь на правый, противоположный от Осташкова, берег, Шестаков разогнал машину до девяноста километров. Только лед свистел под шинами. Стремительный полет над мокрой бездной опьянял. Будь он в машине сейчас один – вообще бы ничего не боялся, пожалуй, даже запел арию Варяжского гостя от азарта и волнующего чувства опасности.

Только снова появилась непонятная, тревожащая мысль. Он ведь никогда как следует не умел водить машину.

Ну, пробовал иногда садиться за руль, проезжал десять-двадцать километров под прищмотром шофера по ровной и прямой дороге. А сейчас-то он управляет автомобилем почти бессознательно, руки и ноги сами знают, что крутить, переключать и нажимать. Оставляя голове свободу думать о чем придется.

Вроде бы все нормально, и от ощущения, как сильна и послушна машина, испытываешь только привычную радость, а вдруг подумаешь – почему это так, и оторопь берет.

Однако Зоя снова отвлекла его своим вопросом, подтвердив, что женщина она куда сообразительнее, чем представлялась раньше:

– Это мы что, по льду едем?

– По льду, а больше и нигде. Долетим, как по немецкому автобану.

И в самом деле, неслись они лихо. Шестаков через короткое время увидел накатанный санный след, ведущий примерно в нужном направлении, и еще прибавил газу.

«Эмку» иногда начинало водить на участках голого, отполированного ветром льда. Особенно когда порывы ветра усиливались и внезапно ударяли в высокий корпус машины, но он хитрил, удерживая «эмку» на курсе, вовремя подворачивая руль в сторону заноса.

Потом снеговой покров становился толще, и ехать опять было легко. Увы, недолго. В совершенно неожиданный момент прямо перед бампером появлялись крутые заструги, преодолеть которые удавалось не сразу, тормозя, меняя курс и выискивая подходящие места.

Но все равно езда ему нравилась. Словно бы в зимнем ралли участвуешь.

Термин опять пришел на ум незнакомый, хотя и понятный по смыслу.

Зоя вдруг коротко рассмеялась. Нарком посмотрел на нее с удивлением. Неужели водка так подействовала или нервный срыв наступил?

– А ты, Гриша, помнишь такую поговорку – «пуганая ворона куста боится»?

– Ну?

– Так чем мы с тобой лучше?

– Не понял...

– Что тут понимать? Ты решил, что за нами сейчас все НКВД охоту начало...

– Так...

– Так если действительно тревогу объявили всесоюзную, то по всем подмосковным и прилегающим областям сразу, да?

– Ну...

– А сколько от Москвы идет дорог, сколько на них областных городов, райцентров, сел и сколько по ним за последние сутки похожих на нашу машин проехало?

Шестаков наконец понял. И восхитился, какая у него умная жена. А он все думал – актриса и актриса, привыкшая к богемной и номенклатурной жизни. А поди ж ты! Он, мужик, инженер, член правительства, не сообразил, а она – пожалуйста!

Куда, казалось бы, проще? В самом деле – по двум десяткам ведущих от Москвы и в Москву дорог наверняка проехало сегодня после рассвета никак не меньше сотни похожих как две капли воды черных «эмок». В самых разных направлениях. И каждую могли видеть и запомнить тысячи людей во всех населенных пунктах по пути ее следования.

Естественно, не обратив никакого внимания на номера.

Кроме того, в счет пойдут и местные машины, перемещающиеся в пределах районов, тоже в разнообразных направлениях, причем одну и ту же машину наверняка посчитают не один раз и даже не десять... Начни сейчас же сотрудники обл-, гор-, райотделов НКВД и милиции плюс партийные комитеты, которые тоже в стороне не останутся, сводить воедино и докладывать «наверх» полученные о замеченных машинах сведения, так любой вышестоящий орган просто захлебнется от обилия правдоподобной информации. И что он с ней будет делать?

В центр поступят тысячи одинаково достоверных и в то же время ложных по сути сигналов, и посади на обработку сведений хоть сотню сотрудников, и за две недели не разобратся им в этом деле...

Он не знал точных цифр, но по порядку величины мог представить ситуацию. Если бы ему как инженеру предложили составить сетевой график перемещения нескольких сотен автомобилей в полусотне районов восьми непосредственно прилегающих к Москве областей, а потом исключить все заведомо не подходящие под условия задачи...

Как ловят львов в Африке? Делят пустыню на квадраты, исключают те, где львов заведомо нет, и в оставшихся находят искомое. Очень просто.

– Ох ты и молодец у меня, – с давно забытым искренним чувством сказал он жене.

– Слава Богу! Хотя в таком положении сообразил. Раньше не мог...

– К стыду своему – да, – склонил голову Шестаков.

На душе стало совсем легко. Даже странно – неужели так подействовало на него чувство свободы – впервые за восемнадцать лет, – свободы от всего? От необходимости поступать так, как диктует служебный и партийный «долг», от страха перед вышестоящим начальством, невыполненными квартальными и годовыми планами, внезапным, пусть и давно ожидаемым, арестом. Теперь все – в прошлом. Нечего бояться, кроме смерти в бою, а как раз этого он и на войне не боялся...

Ну разве что заблудиться во все усиливающейся пурге Шестаков опасался, лопнувшей шины, поломки мотора...

Да вот и погода. Метель метелью, но ветер вдруг на мгновение разгонял над головой плотную снеговую завесу, и даже тучи словно бы редели, становился виден мутноватый круг солнца, и Шестакову становилось опять жутковато – ну как раздернется совсем облачно-снежная пелена, засияет нестерпимой синевой зимнее небо, и предстанет черная «эмка» мухой в сметане любому наблюдателю с острова Кличен, Городомли, десятка прибрежных деревень.

Тогда уже не примешь ее за одну из сотен машин на оживленной магистрали. Первая за многие месяцы, а то и годы легковушка на льду озера запомнится каждому.

Только, к счастью, выюжный полог тут же задерживался, густея, и совсем о другом приходилось думать – позволит ли стихия добраться живыми до места?

Однако и с этим все обошлось. Не прошло и часа, как завиднелся слева темнеющий сквозь густую кисею снегопада лес на берегу острова Хачин, а потом наконец на холме, обращенном к озеру крутым откосом, возник обнесенный оградой из толстых кривоватых слег бревенчатый дом.

Вокруг – несколько овинов, или амбаров, нарком не знал точно, как тут эти хозпостройки называются, а над ними возвышалось подобие сторожевой башни, или караульной вышки на высоких бревенчатых опорах, между которыми виднелись почти отвесные лесенки – трапы в четыре марша.

Шестаков неоднократно видел эту картину, и зимой, и летом, но сейчас вдруг она напомнила ему совсем другое место, с которым связано было в прошлом что-то очень и очень хорошее. Но что, где, когда – он вспомнить не мог. Словно бы в полузабытом сне привиделось. Или – так тоже бывает – попадаешь вдруг в помещение, которое кажется мучительно знакомым, и

лишь потом случайно узнаешь, что жил здесь с родителями в младенческом возрасте, о котором помнить ничего не мог, а вот надо же – отпечаталось в каких-то мозговых клетках...

Утомленные долгой монотонной дорогой, мальчишки сразу оживились.

– О, что это такое, папа, куда мы приехали? Вышка зачем?

– Дозорная вышка. Смотреть, что на озере делается, не загорелся ли где лес и вообще...

– А мы туда полезем?

– Метель закончится – полезете...

Последнюю сотню метров преодолеть оказалось едва ли не труднее, чем сорокакилометровый путь через озеро. Мотор надрывно завывал, колеса проваливались в успевший заполнить санные колеи снег, а подъем к воротам оказался вообще почти непреодолимым.

Салон наполнил запах подпаленного сцепления.

Шестакову казалось, что рев мотора слышен и на другом берегу озера, однако в доме он ажиотации не вызвал, на крыльце никто не появлялся.

И внимание хозяина привлек не едва слышный из-за бревенчатых стен, забиваемый воем пурги механический звук, а громкий, возбужденный лай выскочивших из-за амбаров собак.

Последним усилием своих лошадиных сил «эмка» дотянула до ограды, а тут и распахнулась наконец дверь избы.

Нет, не избы, а обширного бревенчатого дома, больше похожего на сельскую школу или обиталище небогатого помещика.

– Добрались, слава Богу, – вслух сказал нарком, поворачивая ключ зажигания.

– Григорий Петрович? Вот уж неожиданность. – Хозяин шел навстречу, протягивая руку, высокий, худой, в пестро-сером свитере домашней вязки, в каких-то ужасных войлочных чунях на босу ногу, без шапки, зато в круглых жестяных очках – читал, наверное.

Увидев его, Шестаков подумал, что все – спасены! Надолго, нет ли, но пока – спасены.

Глава 6

Ветер выл и свистел в кронах сосен, в стояках и подкосах сторожевой вышки, сухой и жесткий снег хлестал по щекам и слепил глаза. Единственное, чего хотелось наркомому, чтобы буран крепчал и крепчал, длился неделю или две без перерыва, сделал непроходимыми дороги до самой Москвы, а он бы сидел у горячей печи, покуривал, отводил душу в беседе со старым другом и точно был уверен, что и сегодня, и завтра, и через три дня будет спать совершенно спокойно.

– Да вы никак со всем семейством? Неужто отпуск наконец? Рад, душевно рад. А я, знаете, как чувал, с самого утра какое-то беспокойство испытывал, будто и вправду гостей ждал... Кошка тоже – уж так умывалась. Примета есть – гостей намывает. Да вы проходите, проходите в дом, что ж на ветру стоять, замерзнете совсем. И ребятишки, вижу, притомились. Небось от самой столицы без привалов? И как вы только рискнули в такую-то погоду? И без шофера, без охраны? К вечеру точно бы не проехали. Хорошо, если в Осташкове застряли бы, а упаси Бог – в чашобе...

Он строго прикрикнул на двух кудлатых, страховидных кавказских овчарок, захлебывавшихся злобным лаем.

– В позапрошлом году удостоился от профсоюза путевки в Теберду, оттуда и привез щеночков. В наших краях звери невиданные. Волки, и те приближаться к кордону опасаются, а о людях и не говорю...

Власьев говорил без остановки, как уставший от долгого одиночества человек, и в то же время галантно помогал Зое снять шубку в просторных темноватых сенях.

– А вы, Григорий Петрович, ребят раздевайте, и сами тоже. В горнице-то у меня тепло...

– Сейчас, сейчас. Ты, Зоя, иди с парнями, а мы сейчас...

Когда они остались вдвоем, бывший старший лейтенант сразу посерьезнел.

– Нужно понимать, случилось что, Григорий Петрович? – Несмотря на более чем двадцатилетнюю дружбу, они обращались друг к другу исключительно на «вы» и по имени-отчеству, как принято было в старое время между людьми хотя и одного почти общественного положения, но с восьмилетней разницей в возрасте.

– Можно сказать, что и случилось. Только сначала бы машину загнать в сарай какой-нибудь или на сеновал. Не стоит в такую погоду на улице бросать. Воду из радиатора слить опять же. А потом и поговорим. Тем более я к разговору кое-чего прихватил, и закусочки столичной...

Хозяин предвкушающе потер руки.

– «Столичная» – это хорошо. Я хоть совсем бирюком заделался, а к хорошему застолию вкуса отнюдь не потерял...

Пришлось изрядно поработать лопатами, пока наконец «эмку» не водворили в до половины забитый сеном сарай.

Перенесли в дом багаж наркома.

Власьев повертел в руках «ППД».

– Недурная штучка. Видел в журнале, а вблизи – не приходилось. Это теперь что, высшим чинам для самообороны выдают или на медведя сходить думаете? Нет, на медведя не подойдет, слабовато будет...

– Для самообороны, – криво усмехнулся Шестаков.

Власьев понимающе кивнул и больше ничего не спрашивал.

После простого, но обильного и сытного обеда – грибной суп, жаренная большими кусками свинина (дикая, естественно) с гречневой кашей, многочисленные соленья, – дополненного московской колбасой, икрой и крабами, Зою и детей окончательно разморило.

Власьев отвел им для отдыха угловую комнату в два окна с широкой деревянной кроватью, задернул плотные домотканые занавески.

– Пospите, Зоя Степановна. Спешить теперь некуда, а под такую пургу куда как хорошо спится...

Вышел, аккуратно притворил за собой дверь.

– Ну что, Григорий Петрович? Пойдем дровишек принесем, баньку растопим, к вечеру как раз и нагреется. Да и поговорим...

У буйно разгоревшейся печки-каменки (тяга в трубе была так хороша, что то и дело срывала пламя с березовых дров и уносила его вверх, в буйство стихий, яркими оранжевыми лоскутами) в тесноватом, два на два метра предбаннике Шестаков поставил на лавку недопитую за обедом бутылку водки, Власьев добавил старинный зеленый штоф собственного изготовления самогона, очищенную луковицу и большой ломоть ржаного хлеба.

– Ну вот, теперь и побеседуем, Николай Александрович. Кстати – подарочек вам. – Нарком протянул егерю свой никелированный «ТТ». Сделанный по спецзаказу, номера пистолет не имел. Впрочем, роли это не играло никакой, если потребуется, органам нетрудно будет выяснить, когда и для кого он делался.

– Благодарю, вещица красивая. Застрелиться приятно будет...

– Отчего же именно застрелиться? – Слова егеря Шестакова неприятно удивили.

– А для чего он мне еще? Для служебных надобностей казенный «наган» есть, «драгунка»¹⁰, для охоты – ружей пять штук. А вот если власть до меня доберется, арестовывать придет – тогда непременно из вашего пистолетика и застрелюсь. Последнее, так сказать, «прости» от старого товарища...

– Вы скажете, Николай Александрович... А впрочем... – Не спеша, в коротких, но точных фразах Шестаков изложил Власьеву события последних полусуток.

Словно бы речь шла о рискованной, но в целом удачной охоте на крупного зверя.

Егеря слушал внимательно, но спокойно, дымил слишком хорошей и непомерно дорогой для этих мест папиросой, которые если бы и завозили в оставшковское райпо, купить без риска привлечь к себе пристальное и недоброе внимание не мог бы никто, за исключением секретаря райкома, пару раз наполнил граненые стаканчики.

– Удивлены, Николай Александрович? – спросил Шестаков, закончив рассказ.

– Удивлен. Но не тому, что вы имеете в виду. Скорее – себе. Как я в вас ошибался. Последние десять лет, признаюсь честно, считал вас конченным человеком. Предавшимся большевикам. Поддерживал отношения по старой памяти. Ну и из благодарности, конечно. Порвать совсем – сил не было, да и смысла не видел. Все ж таки хоть изредка поговорить с человеком из собственной молодости... А уважать – так почти и не уважал уже...

– Спасибо за откровенность, Николай Александрович.

Обиды нарком не ощутил. Словно бы сказанное к нему совершенно не относилось. А возможно, так оно и было. Себя прошлого, еще позавчерашнего, он воспринимал сейчас очень отстраненно.

– Чего уж. А вы вот каким оказались. Дошли, значит, до точки, а за ней...

– Переход количества в качество. По Марксу – Энгельсу.

Власьев посмотрел на него внимательно.

– Все равно я чего-то здесь не понимаю. Вы должны были или сорваться гораздо раньше, ну, не знаю, после процесса Промпартии, после всех этих кировских дел... Или продолжать принимать и остальное как должное. Включая собственный арест...

Шестаков, продолжая удивляться себе не меньше, чем Власьев только что начал, сухо рассмеялся:

¹⁰ «Драгунка» – укороченная трехлинейная винтовка, специально предназначенная для драгунских частей, без штыка.

– Я, наверное, вроде монаха Варлаама. «По писаному худо разбираю, но разберу, коль дело до петли-то доходит...»

– Может быть, может быть, – с сомнением в голосе ответил бывший старший лейтенант, хотя и непонятно было, в чем он теперь-то сомневается. Разве что в подлинности самого рассказа.

Шестаков выложил перед ним рядом четыре чекистских удостоверения. Красноармейскую книжку бойца-конвойника он забирать с собой не стал. Никчемная вещь.

– А в саквояже у меня четыре их же «нагана»...

Помолчали, еще подымили папиросами.

Печка разгорелась в полную силу, и в предбаннике становилось уже жарковато.

– Ну-ну, так – значит, так... – Власьев запустил пальцы в бороду. Полуседая, окладистая, она сильно его старила, придавала вид диковатый и одновременно патриархальный. Никто не дал бы егерю его сорока восьми лет, окружающие, кроме кадровика в райкомлесе, считали, что Лексанычу далеко за пятьдесят, и сам он ненавязчиво культивировал такое мнение.

– И что же вы теперь намереваетесь делать?

Шестаков, что странно, о дальнейшем пока не думал. Ближайшая цель – добраться до единственного надежного убежища – заслоняла все остальное.

– Да, пожалуй, вы и правы, – согласился с ним егерь. – Пурга никак не меньше недели продлится, я точно знаю. Кстати, прошу заметить, последнее время зимы все суровее становятся. Я календарь погоды веду. Очевидно, очередной цикл малого оледенения начался. Так что до конца февраля погода будет для нас самая подходящая. Отдохнете, отоспитесь, мысли в порядок приведете, потом можно и планы строить. Я в Осташков съезжу, среди людей покручусь, у меня знакомые везде есть, в том числе и в милиции. Начальник районный тоже большой любитель и охоты, и баньки. Может, что полезное и сболтнет под вторую бутылку... Окорочок копченый ему свезу, сига вяленого, первачу четверть...

– А не удивится, чего это вдруг?

– Как это вдруг? Постоянно вожу. С властями дружить надо. Я ему гостинец, он мне когда патронов к «нагану» и «драгунке» подбросит, когда еще что... За это не беспокойтесь. Ежели розыск на вас объявили – он непременно скажет. Смотри, мол, Лексаныч, не появится ли где чужой человек. Я же следопыт известный, у властей в доверии как бывший герой гражданской войны и беспорочно прослуживший на кордоне аж пятнадцать лет... – Власьев снова рассмеялся, но как-то невесело. Выпитая водка начала себя показывать, навеяв печаль по нечувствительно пролетевшей жизни.

А Шестаков оставался совершенно трезв, просто внутреннее напряжение сменилось расслабленным покоем. И, поскольку хмель все-таки действовал, пусть и без внешних проявлений, он стал собою даже гордиться. И хотелось о собственной лихости говорить.

Но заговорил он о другом:

– Давно хотел спросить, Николай Александрович, вот вы обо мне этак пренебрежительно отозвались, а сами-то? Так и решили до конца дней своих в советских отшельниках просуществовать? Крест на себе окончательно поставили? О нормальной человеческой жизни и не тоскуете даже? Так, чтобы выбриться когда-нибудь чисто, рубашку крахмальную надеть, костюм от классного портного, в столицу или в Питер выбраться, в ресторане посидеть (теперь снова довольно приличные появились), ложу в опере взять. Дамам руки в кольцах целовать... Вы ж совсем еще человек не старый, по-прежнему времени даже и молодой, пожалуй. Году в восемнадцатом непременно кавторанга бы получили, в двадцать примерно третьем – каперанга. А то и ранее. Сейчас никак не меньше, чем вице-адмиралом, были бы. Командующим флотом или Генмором¹¹ заправляли. Да и я с вашей помощью черных орлов¹², наверное, уже получил бы...

¹¹ Генмор – Генеральный морской штаб Российского флота.

– С чего вдруг именно сейчас – и такие мысли? Вам ли жаловаться? По тому же счету вы уже действительный статский, если не тайный... Правда, вот в бегах оказались, так это дело случая. Могло и иначе обернуться.

– Сомневаюсь, – с неожиданной твердостью в голосе сказал Шестаков. – Теперь уже очень сомневаюсь. Очевидно, такая наша судьба, от которой не убежишь, как известно. В восемнадцатом я еще искренне верил, что от большевиков может польза России произойти. Обновление как бы. После Кронштадта впал в сомнение, в чем вы лично могли убедиться...

– Да уж. Тогда вы себя с блеском проявили, – усмехнулся Власьев.

Воспоминание было приятно наркомку, хотя в предыдущие годы он часто мучился мыслью – прав ли был тогда, позволено ли во имя так называемой «дружбы» изменять тоже так называемому «революционному долгу»?

Власьев понял его мысль.

– Известно, что первое побуждение, как правило, бывает благородным. И тогда, и сейчас вы ему поддались. Эрго¹³...

– Хотите сказать, что я по-прежнему остаюсь благородным человеком? Невзирая на... убийство?

– На войне мы с вами стреляли торпедами и ставили мины против совершенно ни в чем не виноватых людей. Ремарка «На западном фронте» читали?

– Как же... Суровое осуждение империалистической бойни...

– Вот-вот. Наши с вами исконные враги тевтоны – такие же нормальные люди, с чувствами, с совестью и благородством. Тогда бы нам такое почитать... Зато те, что пришли за вами вчера, – это как раз не люди. Убежденные палачи. Отбросы человечества и сволочь Петра Амьенского. Истинные враги народа. Их не оправдывает даже тезис «Прости их, ибо не ведают, что творят...». Еще как ведают...

– А вдруг и вправду уверены, что я и мне подобные – враги трудового народа? Либо вредили, либо злоумышляли, либо шли поперек линии партии...

– Тогда бы они хоть доказательства собирали, а не выколачивали их. Знакомились с материалами последних процессов? Где там хоть намек на доказательства? При царе и то без четких улик и сравнительно беспристрастного суда не сажали, тем более – не расстреливали и не вешали. Значит, вы все сделали правильно. Теперь главное – не останавливаться.

– Это как понимать? – вскинул голову Шестаков.

– Да в самом буквальном смысле. Как вы себе отныне свое будущее представляете? У меня отсидеться думаете? Я вам в гостеприимстве не отказываю, но рано или поздно... Здесь ближайшая деревня в трех верстах. В конце концов вас заметят, на первый раз я сумею выдать вас за приезжего гостя, скажем, даже брата, но через неделю или месяц слух дойдет до участкового, он явится проверить документы. Ну а дальнейшее понятно...

– Я могу уехать...

– При нынешней паспортной системе? Куда? Не смешите. Если только правда где-то в Сибири скит построить и жить там, как беглому раскольнику петровских времен. С женой и детьми? Сначала затоскуете, потом и одичаете. Робинзон из вас вряд ли получится...

– Тогда что же остается? С повинной идти или застрелиться? – произнес это Шестаков с отчетливо слышимой иронией.

– Зачем же так? Даже в шутку таких слов не произносите. А то застрянет невзначай мыслишка и начнет точить. Я всяких людей знал, всякого насмотрелся. Из-за таких пустяков иногда себе пулю в голову пускали, что даже оторопь берет...

¹² Черный орел – знак различия на погоне контр-адмирала Российского флота, аналог нынешних звезд.

¹³ Эрго – следовательно (лат.).

В предбаннике становилось все жарче, оба собеседника незаметно за разговором разделись до исподнего.

Небольшая керосиновая лампа, почти коптилка, еле освещала тесное, с низким потолком помещение, из-под двери слегка сквозило, и мохнатые тени прыгали по стенам, изломанные и страшные.

За крошечным, в две ладони шириной, окошком выла и свистела теперь уже окончательно разгулявшаяся до полярных масштабов вьюга, скорее даже – полноценный буран, при котором застигнутый в пути ямщик не имел шансов на спасение, каким бы опытным он ни был.

– К утру, наверное, откапываться придется, – заметил Власьев. – У меня на этот случай специальный ход через крышу есть и лопаты на чердаке.

Шестаков второй раз за сутки вспомнил героя ледовой зимовки капитана Бадигина. Вчера только ему завидовал, а сейчас и сам в том же положении. Только полярник спокоен за свою участь до лета как минимум, а он – до... Да кто может знать, кто из них сейчас в лучшем положении? Сожмет пароход «Седов» льдами чуть крепче – и конец капитану, не видать ему своей героической звездочки.

– Так банька-то согрелась, пойдем, однако, – сказал Власьев.

– Мне и не хочется вроде, – с сомнением ответил нарком. – Разморило меня что-то. Да и выпили порядочно.

– Ништо, – перешел вдруг на местный диалект егерь. – Не повредит. Мы слишком-то усердствовать и не будем. Так, косточки распарим слегка да ополоснемся. Спать будет лучше.

Жар в парилке был сухой, пронзительный, в нем даже лампа продолжала гореть как ни в чем не бывало.

На верхнем полке Шестаков почувствовал себя словно бы и легче, только в ушах гудела кровь и в виски чуть тюкало, а так ничего.

– Вы, Григорий Петрович, знаете, я ведь до вашего появления ощущал себя совершенно умиротворенным, едва ли не счастливым человеком, вот только вы меня снова слегка смутили...

– Счастливым? В такое время?

– Именно, милейший, именно. А чего же? Тюрьмы полны коммунистами, изничтожают они друг друга так, что никакому Врангелю с Деникиным не снилось, все, почитай, герои гражданской войны сведены под корень, самые глупые пока уцелели, и то, полагаю, до времени, «ленинская гвардия» тоже целиком «в штабе Духонина¹⁴»... Я тут газетки выписываю, детекторный приемник собрал, полностью в курсе, хоть в город не чаще, чем три раза в год, выбираюсь. Отчего же мне не радоваться? Я-то вот живу, пребывая в полной гармонии с собственной душой и природой. Про троцкистов в «Правде» почитаю, потом по лесу пойду, на живность всякую полюбуюсь, птичек послушаю...

Дневник наблюдений за природой еще веду, чучела набиваю, про повадки муравьев очерк составляю, словно бы новый Фабр... И так иной раз сладко на душе делается...

Крыленко с Дыбенкой, помните, очень против офицеров зверствовали, а теперь обоих – тоже к стенке. И еще многих, Викторова, Кожанова, Муклевича, Зофа, Зеленого! Это я только бывших моряков-предателей, советских комфлотов сейчас вспомнил. У меня, знаете, такой как бы синодик заведен, так, поверите, не успеваю кресты ставить.

Из кронштадтских карателей никто не уцелел, поверите ли?! Кто в катастрофе погиб, как Фабрициус, кто-то своей смертью умер, но в молодом, заметьте, возрасте, а большинство все же к стенке своей, советской, отправились. Чудо ведь, никак иначе!

¹⁴ Духонин Н. Н. – последний главковерх Российской армии. Зверски убит дезертирами в конце 1917 года. «Отправить в штаб Духонина» – популярный в годы гражданской войны синоним термина «казнить без суда».

Да со всенародным гневом и проклятиями в печати! А я, как новый крестик нарисую, по этому случаю глухаря в русской печке зажарю, да под глухаря и чарочку – чтоб ни дна ни покрывки очередной поганой душе...

Шестаков подивился столь, в общем-то, неожиданному, но в принципе, как он, немного подумав, решил, – естественному взгляду на вещи.

Это он никак не может отрешиться от ставших почти второй натурой советских стереотипов, а его бывший командир своих убеждений никогда не менял. Так французский аристократ в каком-нибудь 1793 году не мог не радоваться казни Робеспьера и его присных, а на двадцать лет позже – падению Наполеона.

– А чем же мое появление так уж ваш покой смутило? Ну, перекантуюсь я недельку-другую, да и отбуду куда подальше, а вы живите себе. Глядишь, еще и реставрации монархии дождетесь...

– Пожалуй, что и такое может случиться. Зачем бы иначе Сталин кровушку своим подельникам рекой пускает? Чтоб ни одного не осталось, кто возразить сможет, когда час придет. Историю французской революции почитывали? Очень большевики любили ее к своей примерять. А чем та кончилась? Вот то-то! С течением времени погоны вернет, как офицерские звания вернул, и адмиральские-генеральские чины тоже. А потом и императором себя объявит подобно Бонапарту...

Но это когда еще будет? Через два года или через пять... А нам-то сейчас жить предстоит. И я вас на произвол судьбы оставить не могу. Раз такая планида выпала. Что-то нам серьезное, а главное – неожиданное делать придется...

– Интересно – что же именно? – выпив еще стопку и чувствуя, что наконец и его начинает забирать, спросил Шестаков.

– Ответить окончательно и в деталях – не готов. Так и время на размышление у нас пока есть. Отоспитесь как следует, окончательно в себя придете, тогда и обсудим. Ежели же в двух словах, то можно так сказать – пора бы и нам Советской власти войну объявить.

Они нам – в семнадцатом. Мы ей – хотя бы сейчас. Думается – пришло время. Если уж даже и вы решились... Партизанскую войну начнем, а в нужный момент... – Власьев вдруг отстраняюще взмахнул рукой, потянулся к деревянному ковшику, зачерпнул ледяной воды из ведра. – Да что это мы, право, все о делах да о политике? Забудьте пока все, Григорий Петрович, жизни радуйтесь. Словно вы из опасного похода вернулись, как тогда, после боя на Кассарском плесе, а другой поход то ли будет, то ли нет.

По крайней мере – не сегодня и не завтра.

А сегодня мы с вами, как встарь, напьемся по-черному! Я в одиночку-то почти не пью, во избежание, а вдвоем со старым товарищем – сам Бог велел. Очень может славно получиться...

Он распахнул дверь парной и издали плеснул из ковша на раскаленную до малинового отсвета каменку. Ударивший со свистом пар окутал тесное помещение.

Власьев захлопнул дверь.

– Пусть пар осядет чуток...

Шестаков удивился, что в устах лейтенанта слово «товарищ» звучало отнюдь не по-советски, а так, как его произносили и век, и пять веков назад.

– Ну и напьемся, я разве против? Помните, как в Гельсингфорсе, в ресторане «Берс»?

Сам-то Шестаков по своему полуофицерскому-полуматросскому званию при старом режиме рестораны посещать права не имел, только после Февральской революции наступило уравнивание в правах, но как гуляли там офицеры – помнил хорошо.

Уже после полуночи он кое-как добрался до отведенной ему Власьевым комнаты. Опьянение навалилось на него неожиданно, и проявилось оно довольно странно.

Последними мыслями, которые он успел зафиксировать, были такие: «А интересно все же, что сейчас творится на Лубянке?» и «Не понимаю, когда я успел так безобразно упиться? Ох!».

И тут же нарком провалился в гудящую, раскачивающуюся, тошнотворную пучину черного беспамятства.

Глава 7

А на Лубянке действительно с самого утра происходили интересные вещи.

Как и рассчитывал Шестаков, до начала рабочего дня, то есть до десяти утра, никто не заинтересовался, вернулась ли с задания группа и доставлен ли арестованный нарком куда следует.

Да и потом в третьем спецотделе (специализация – обыски и аресты), в отделении, где служил лейтенант Сляднев, спохватились не сразу. У всех свои дела, не один нарком Шестаков числился этой ночью в проскрипционных списках.

Размещался отдел в двух десятках кабинетов вдоль длиннейшего коридора, кто там упомянут, кого из коллег видел уже сегодня, а кого еще вчера, после развода, или ночью.

А если и нет товарища на месте, так мог, например, сдав арестованного, поехать домой законно отдыхать, такое постоянно практиковалось.

Лишь около полудня начальник отделения, тот, что велел лейтенанту доставить Шестакова не на Лубянку, а в Сухановскую тюрьму, начал, без особой сначала тревоги, накручивать диск телефона.

Выяснив, что ни лейтенант, ни его сержанты не объявлялись нигде, тюрьма арестованного не принимала, да и, наконец, не вернулась в гараж обслуживавшая группу дежурная машина, старший лейтенант ГБ Чмуров поднял тревогу.

Посланные на квартиру наркома оперативники взломали прочную дверь, сначала услышали глухой стук в дверь ванной, где и обнаружили мающегося тяжелым похмельем электрика и почти невменяемую от страха лифтершу. А потом нашлись и прикрытые ковром тела сотрудников.

Беглый осмотр тел и опрос понятых дал не слишком много. Ничего дельного сказать они не могли. Электрик непослушным языком буровил что-то несусветное, женщина твердила о напавших на товарища наркома троцкистах, приехавших ему на помощь настоящих чекистах, которые и увезли его в Кремль к товарищу Сталину.

Для проведения процессуально оформленного допроса свидетелей (на соучастников они явно не тянули даже по тогдашним меркам) обстановка в квартире была неподходящая, и их отправили сначала к себе в отдел, чтобы привести в чувство и получить более вразумительную информацию.

Тела погибших повезли в судмедэкспертизу, но свободного прозектора сейчас не оказалось, и пришлось в ожидании своей очереди запереть тела в отдельной секции морга с приставлением часового.

Лишь в четвертом часу судмедэксперт объявил, что причина смерти лейтенанта – раздробление шейных позвонков и полный обрыв спинного мозга, одного сержанта и конвойного бойца – кровоизлияние в мозг, возможно, от удара тупым тяжелым предметом, второй сержант умер от внезапной остановки сердца.

Несколько позже найденный труп водителя ясности не прибавил. Он, судя по всему, скончался вообще беспричинно. Вот жил-жил, а потом спустился зачем-то в подвал, где вдруг взял и умер. Бывает, но не в такой ситуации.

Время же шло и шло, причем, как часто бывает в подобных случаях, с чрезмерной скоростью.

Было уже почти шесть часов вечера, стемнело, и начальнику отделения стало ясно – хочешь не хочешь, а пора докладывать по начальству. А что докладывать? Предназначенный к аресту очередной «враг народа» (да не рядовой враг, член правительства, ЦК и Верховного Совета) уничтожил хорошо подготовленную, имевшую немалый опыт работы оперативную группу без единого выстрела и бесследно исчез вместе с семьей?

Мало того – в квартире не осталось практически ни одного предмета или документа, могущего представлять интерес для следствия.

А еще беглец захватил служебную машину, оружие и документы сотрудников.

Такого в Главном управлении госбезопасности Наркомата внутренних дел СССР не случилось, похоже, с момента его создания. Сотрудники иногда погибали при исполнении, только во времена бытности не НКВД, а ВЧК – ОГПУ, когда враг был реален, вооружен и отнюдь не склонен поднимать руки или закладывать их за спину при виде какого-то там ордера на обыск. Да тогда ордера и не предъявляли. Разве что дряхлым старикам или беспомощным женщинам, предназначенным на роль заложников.

Остальных принимали всерьез, отчего вели себя при задержаниях и арестах с должной осторожностью.

И вот так все и докладывать?

Тем более что слухи вот-вот поползут и, несмотря на крайне узкий круг осведомленных о ЧП лиц, по обычному закону их распространения, то есть – быстрее звука.

С минуты на минуту может последовать звонок от начальника спецотдела, а то и выше...

С выступившими на голубовато-сером коверкоте гимнастерки темными пятнами горячего и липкого пота, кое-как подавляя нервную тошноту, промокая платком лоб (вот удивительно – под мышками пот горячий, а на лбу – ледяной), чекист судорожно искал выход, затравленно поглядывая то на дверь кабинета, то на телефон.

Использовать, что ли, бестолковый бред лифтерши? Что действительно появились какие-то вооруженные люди (или они заранее прятались в квартире?), уничтожили наших людей и похитили наркома? Действительно троцкисты-террористы?

Старший лейтенант ни разу в жизни не видел настоящих троцкистов, если не считать, конечно, тех времен, когда сам Троцкий был еще у власти, выступал на съездах, печатал свои статьи в газетах. Кое-какие даже изучались в школе, но это же совсем не то.

Нынешние троцкисты, в существование которых он не слишком верил, – это свирепые и беспринципные убийцы, отравившие Горького и Куйбышева, подсыпавшие толченое стекло в котлы с пищей в рабочих столовых, казармах и детских садах. Такие ему не попадались. Попадались другие – вчера еще совершенно обычные люди, нередко – заслуженные и известные, но сегодня оказавшиеся ненужными. Вот верховная власть решила, что требуется их при аресте и суде как-то по-особенному назвать.

Чтобы отличать от других, еще не арестованных. Пусть так, троцкисты – значит, троцкисты.

Любимая бабка Чмурова, например, никогда не поминала черта, тоже подбирала ему условные обозначения: «серенький», «рогатый» или «агтел».

Да черт с ними, с троцкистами. Придумать, поскорее придумать хоть сколько-нибудь связную версию, а там, может, и удастся перебросить это дело по принадлежности. А его... Ну, может, не арестуют все-таки, может, просто уволят по несоответствию или понизят до рядового опера...

Не в силах унять дрожь в руках, чекист выпил полный стакан воды.

Отчаяние овладевало им все сильнее. Слишком отчетливы были прошлогодние воспоминания. Как исчезали после снятия Ягоды и прихода Ежова люди целыми отделами и управлениями. Люди не ему чета: комиссары с четырьмя и тремя ромбами, старшие майоры – десятками, более мелкая сошка вообще без счета.

Сам же он их и арестовывал, с непонятным, но острым наслаждением сдирает петлицы, с мясом вырывал ордена, при малейшем намеке на протест без азарта, но с удовольствием бил в морду. Да кого – самого Агранова, самого Паукера, самих Артузова, Бокия, Благодного, Молчанова...

В не лишенной оснований надежде, что как раз за нерассуждающую старательность и помилуют.

А теперь и его так же? Не анекдотчика мелкого упустил, не польского шпиона, каковым считался хоть бы и родившийся в каком-нибудь глухом уезде под Белостоком дворник, наркома упустил, матерого, заслуженного. Не зря его в Сухановку велели, туда не каждого возят, большинство сюда, во внутреннюю...

По сложившемуся в советское время порядку, руководитель отвечает за все и полной мерой, пусть даже чрезвычайное происшествие вызвано падением Тунгусского метеорита. Но с метеорита ведь не спросишь, а виноватые и, соответственно, должным образом наказанные должны быть всегда.

Начальник отделения был человек опытный, знал, насколько бессмысленны надежды оправдаться и что-то объяснить, если уж решат повесить это дело на него. За пару часов превратят в дико воющую и стонущую отбивную котлету. И признаешься сам, а куда деваться?

Если только не удастся «перекинуть стрелку». А на кого?

На своего непосредственного начальника или – вместе с ним – на «соседей»? Кто оформлял бумаги на арест, кто не обеспечил оперативную разработку, кто прозевал, не предусмотрел или даже... подставил ничего не подозревавших сотрудников?

Поздно, ой поздно он спохватился!

Сразу бы, там же, в квартире, как только увидел трупы, написать рапорт на имя начальника отдела или сразу ГУГБ и бегом, и лично доложить, и виноватых назвать! Такие вещи не раз срабатывали...

А тут и телефон наконец зазвонил, громко, нагло и злобно. Чмуров вырвал из розетки провод, подскочил к двери, дважды повернул ключ.

Боком присел на стул, торопясь, разбрызгивая чернила, не слишком выбирая слова, нацарапал докладную прямо Ежову, вообще не упоминая о себе, а только обвиняя во вредительстве всех, от своего непосредственного начальника и вверх по должностной лестнице, кого сумел вспомнить, потом написал короткое прощальное письмо жене (хорошо хоть детей нет). Ступая на цыпочках, выглянул в коридор.

За ним пока не шли.

Спустился вниз, вышел на улицу и протолкнул конверты в щель почтового ящика на углу Кузнецкого моста. Это уж точно от полной потери ориентировки. Докладную Ежову можно было и в секретариат забросить, все равно мимо проходил.

Старший лейтенант постоял у перекрестка, ловя губами густо летящие вдоль улицы снежные хлопья и не обращая внимания на удивленно-испуганные взгляды прохожих.

Неторопливо вернулся в свой кабинет, с неожиданно наступившим спокойствием и даже некоторым злорадством выкурил папиросу у открытого окна и совсем не дрожащей рукой выстрелил из «нагана» себе в сердце, не в висок.

Чтобы не портить лицо для гроба. Рассчитывал все-таки на нормальные похороны, а не на яму для «невостребованных прахов» возле Донского крематория.

Однако, по недостатку образования, направить ствол куда нужно не сумел и был доставлен со слабыми признаками жизни в ведомственный госпиталь.

Так что, возможно, выход он нашел не самый худший. Если не умрет на операционном столе, то пару месяцев перекантует на больничной койке, а к тому времени много чего может случиться. По крайней мере от допросов с пристрастием, да еще «по горячим следам», он на ближайшее время избавился.

А дальнейшие решения принимать пришлось уже начальнику 3-го спецотдела 1-го управления ГУГБ, старшему майору госбезопасности, то есть, по-армейски считая, комдиву, Шадрину. Опытный чекист и неплохой дипломат, он просчитал ситуацию куда быстрее своего незадачливого подчиненного.

Ежову, хотя распоряжение об аресте наркома и было подписано им лично, докладывать нельзя ни в коем случае.

Во-первых – не по уставу, а кроме того, Николай Иванович агрессивен и глуп. Сначала тебя же и сделает крайним, а потом то ли будет разбираться дальше, то ли нет – непредсказуемо. К своему прямому начальнику, комиссару 3-го ранга Дагину, обращаться вообще бессмысленно. Назначен на должность недавно, труслив, безынициативен, сдаст, не разбираясь, спасет это его самого или нет.

Курирующий замнаркома тоже не подходит. Но есть человек, один из «последних моги-кан ВЧК», который и поймет, и посоветует...

Но добиться приема у первого замнаркома не так просто даже и старшему майору. Только утром Шадрин смог попасть в кабинет комиссара госбезопасности 1-го ранга (а это уже почти маршал) Л. М. Заковского, человека авантюрного склада, но чрезвычайно умного, более того – по-своему порядочного.

Несколько позже Алексей Толстой изобразил его в «Хождении по мукам» под именем Левы Задова. Нарочито карикатурно, ну а как же еще можно было в то время писать начальника махновской контрразведки, не раскрывая его истинной сущности?

А Заковский тогда работал у Махно по заданию ВЧК. Впрочем, возможно, все было наоборот, начальник контрразведки – сначала, а переход на службу в ВЧК – уже потом. Но и ту, и все другие роли он исполнял вполне успешно. За ним числились многие и многие, очень непростые операции.

– И что же, по-твоему, Матвей Павлович, произошло на самом деле? – спросил, насупившись, Заковский, опираясь тяжелым подбородком на сжатые кулаки. – Только давай сначала обойдемся без казенной риторики. И – без эмоций. Отложим на потом. Сейчас – только факты. Иначе – сам понимаешь...

– Если бы я мог... Картинка на самом деле странная. Шестаков этот... Что за личность, ты же его знал, Леонид Михайлович?

– Знал, но не так чтобы очень. Встречались пару раз, разговаривали о... Впрочем, это неважно. Обыкновенный человек. Насколько помню, к оппозициям не примыкал. Связи... Ну какие у наркома могут быть связи? С Орджоникидзе вроде был близок... Да это все в наблюдательном деле есть. Не смотрел?

– Где бы я смотрел, это не по нашему ведомству. Поступила команда на обыск и арест, ну и... Почему, зачем – не наше дело...

– Угу, угу, конечно. Как в опере поется: «Сегодня ты, а завтра я...» И что же, никаких следов?

– В том и дело. Пятеро убитых, и непонятно как. У конвойного череп проломлен, у старшего группы хребет перебит, на остальных – вообще ничего...

– Без ножа, без выстрела? Один человек – пятерых? Чушь какая-то. Если бы они сонные были или пьяны до бесчувствия... Не понимаю – все вооруженные, боец с автоматом в коридоре. Тут как минимум столько же нападающих надо, из засады и одновременно.

– Тем не менее. Следов присутствия других людей в квартире, кроме жены и детей, не обнаружено.

– И уже прошли почти сутки. Плохо, ой как плохо. План какой-нибудь имеешь? Кстати, жена у него кто? За ней чего-нибудь интересного не отмечалось?

– Известная артистка театра Вахтангова. Красавица, масса поклонников, в том числе и из весьма заметных персон. Я ее в «Турандот» видел. Хороша! Но чтобы она – и вооруженных мужиков мочить голыми руками? Никогда не поверю... А планы? Изолировать всех, кто в курсе. Уже сделано. Главный вопрос – что дальше? Что докладывать наверх? Убит при попытке к бегству? Так где труп? Где жена, дети? Доложить по команде? Сам знаешь, что будет. Не

докладывать, попробовать сначала найти? А завтра спросят – где нарком Шестаков? – Шадрин навалился локтями на стол.

«Было бы сейчас другое время...» – синхронно подумали оба.

Заковскому легко было прямо сейчас снять трубку прямого телефона и без всяких доложить о случившемся наркому. При Ягоде или Менжинском он так бы и поступил. Но... Истеричный Ежов непредсказуем, а дело ведь очень и очень непростое. Тут прямо навскидку ясно, что пахнет чем-то серьезным. Может быть – подлинным заговором, не наскоро слепленной пропагандистской туфтой.

В случае удачи можно заработать солидный капитал. Богатые перспективы вырисовываются... Но действовать нужно стремительно.

И безошибочно.

Комиссар стукнул кулаком по столу.

– Нет, ну не сволочь ли?

– Кто? – не понял Шадрин.

– Хрен в пальто! Как он нас, а? Куда теперь ткнуться? Объявлять всесоюзный розыск? Он же на нашей служебной машине уехал? Когда – выяснил?

– Между тремя ночи и шестью утра примерно, так по показаниям понятых выходит.

Заковский обернулся к висевшей за спиной карте Союза под шелковой шторкой, испещренной одному ему понятными значками. Накрыл большой, как тарелка, ладонью с растопыренными пальцами Москву и прилегающие области.

– Видал? Вот куда он мог уехать. А если на поезд сел? С любого из вокзалов. Сколько километров скорый поезд за сутки проходит?

Шадрин пожал плечами.

– Ну что же, работа наша такая, – вдруг успокоился Заковский. – Ладно, беру все на себя. Не тебя спасаю, не думай. Просто... Большое дело здесь вырисовывается, нюхом чую. Значит, так. Твое дело пока – вмертвую молчать. Зачистить все концы. Всех, кто хоть что-то об этом знает, слышал, – не арестовать, а так... изолировать до выяснения.

Я распоряжусь, чтобы приняли в Лефортово без регистрации. Семьям, родственникам, если есть, – сообщить, что убыли в срочную командировку. Про убитых – тоже. Этот твой сотрудник – пусть лечится. Отдельная палата и никаких контактов. Если выживет – его счастье. Потом решим. Можно уволить под подписку за неосторожное обращение с оружием. Можно – в строй вернуть, можно всех собак повесить, если потребуется. Все можно. А умрет – похоронить как положено. Остальное – моя забота. Все понял?

И когда уже старший майор шел к дверям, испытывая облегчение, что хотя бы на сегодня все закончилось более-менее благополучно (а на столе в кабинете по-прежнему лежат бумаги, и в очередной раз нужно посылать бригады на обыски и аресты, и спать опять до утра не придется), комиссар окликнул его нарочито тихим голосом:

– И вот еще не забудь – немедленно займись поисками. Сегодня же, в крайнем случае – завтра, найди хоть не самого наркома, хоть концы какие. Любым способом. Второе – дождись, когда кто-то со стороны этим делом заинтересуется. От кого запрос придет – где, мол, Ляпкин-Тяпкин, а подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Сразу мне сообщишь.

«Тут не то что не заснешь, – думал Шадрин, возвращаясь по раннему времени почти пустыми коридорами в свой кабинет, – тут перекурить некогда будет. Ну а дальше? Самому, что ли, застрелиться для простоты дела? Или?»

Шадрину вдруг пришла в голову мысль, простая до гениальности.

Глава 8

И в это же совершенно время, совсем недалеко от площади Дзержинского, буквально в десяти минутах неспешной ходьбы, на третьем этаже старинного дома непонятного архитектурного стиля, за метровыми стенами обширной, хорошо натопленной квартиры некий человек заинтересованно следил за только что завершившимся совещанием, более похожим на сговор.

Большой кабинет, из которого он наблюдал за тайной жизнью важных лубянских чинов, с высокими, четырехметровыми потолками и двумя узкими стрельчатыми окнами, выходящими на знаменитый московский переулок, напоминал одновременно обиталище рафинированного интеллигента и декорацию к фильму о сумасшедшем изобретателе. Левую его половину занимали темные застекленные книжные шкафы, огромный письменный стол утвердился в простенке, рядом с ним располагались пара громоздких кресел и пухлый диван, обитые шоколадной стеганой кожей.

А справа от двери, где на простом деревянном стуле сидел хозяин квартиры, сравнительно молодой человек в армейской гимнастерке со знаками различия военинженера 1-го ранга (три рубиновых прямоугольника на черных петлицах связиста), к стене был прилажен длинный верстак. Его загромождали голые алюминиевые шасси с рядами радиоламп, непонятная нормальному человеку путаница проводов соединяла между собой всевозможные конденсаторы, сопротивления, реостаты, коробки осциллографов и генераторов стандартных сигналов.

Рядом с верстаком возвышался серый железный шкаф линейно-батарейного коммутатора и еще один коммутатор – телефонный, едва ли не прошлого века, с мраморным распределительным щитом и торчащими в гнездах многочисленными штекерами с толстыми черными шнурами на противовесах.

Попахивало канифолью и прочими естественными для радиомастерской запахами.

Единственно выделялся среди всех этих устройств, явно изготовленных в разные технические эпохи последнего полувека, лишь один прибор, закрепленный в специальном многолапном зажиме над столом и связанный со всеми прочими устройствами десятком гибких серебряных шин, словно бы обтянутых парчой. Как-то совершенно чужеродно он выглядел, словно спортивный «Порше» среди самобеглых колясок. Иная техническая культура в нем ощущалась и несколько даже нечеловеческий дизайн, пусть и невозможно было объяснить простыми словами, в чем тут дело.

Чуть подавшись вперед, военинженер с явным интересом всматривался в маленький, как тетрадный лист, экран американского телевизора.

Хотя с Шуховской башни уже почти год продолжались пробные, по два часа в день, передачи, собственных телеприемников, за исключением экспериментальных, штучной сборки, в СССР пока не производилось.

Да и сами передачи представляли интерес только для специалистов или фанатиков технического прогресса, переключившихся со сборки детекторных и ламповых приемников и передатчиков на очередное чудо XX века.

Но к ним вряд ли относился военинженер. И любовался он сейчас отнюдь не бессмертным и пресловутым «Лебединым озером», хотя именно отрывки из него передавала последнюю неделю опытная студия с Шаболовки. С четкостью и контрастом, недостижимым пока и в Соединенных Штатах, где благодаря эмигранту Зворыкину регулярные передачи шли уже лет пять, он наблюдал прямую трансляцию из кабинета Заковского.

Тонкое, умное, несколько даже аристократическое лицо военинженера не выражало никаких эмоций, только время от времени приподнималась удивленно бровь, и еще – он

довольно часто закуривал «Северную Пальмиру» из лежавшей рядом коробки и несколько более резко, чем обычно, стряхивал пепел в круглую хрустальную пепельницу.

Выглядело все это, если бы кто-то мог видеть сейчас инженера, как испытание нового специального изобретения, призванного заменить банальное уже подслушивание кабинетов и телефонов высокопоставленных сановников.

А отчего бы и нет? Не зря же он принадлежал к той службе, о которой сказано: «Связь – нервы войны». Если это справедливо в отношении войны явной, так тем более – тайной. А нервы, как известно, передают мозгу от всех прочих органов информацию, являющуюся матерью интуиции.

Но здесь все было хотя и так, но не совсем так.

Официально военинженер Лихарев значился начальником аналитического сектора спецотдела при Секретариате Политбюро ВКП(б), фактически же – личным референтом Сталина для весьма особых поручений и, по собственному усмотрению, мог носить как штатский костюм, так и военную форму с любыми знаками различия. В разумных пределах. Кроме, скажем, маршальских, поскольку живых маршалов в СССР к описываемому моменту имелось всего три, хорошо известных всей стране в лицо, и появление четвертого вызвало бы законное удивление в заинтересованных кругах.

Вообще история появления этого человека в «коридорах кремлевской власти» была достаточно темная и большинству приближенных к вождю людей неизвестная, самым же доверенным, вроде Поскребышева и Власика, – непонятная.

Валентин Лихарев впервые был замечен возле Сталина где-то на рубеже 25-го и 26-го годов, сначала вроде бы в качестве шофера и личного охранника. По слухам, рекомендован он был на этот пост лично Менжинским, которому Сталин, после весьма своевременной, пусть и немного загадочной смерти Дзержинского, неосторожно упомянувшего на съезде партии о грядущем диктаторе «в красных коммунистических перьях», доверял почти безгранично. А когда Вячеслав Рудольфович, в свою очередь, тоже наконец умер (от грудной жабы, кажется) – стал доверять еще более.

Обычно покойным соратникам, не успевшим себя при жизни чем-то дискредитировать, вождь верил гораздо больше, чем пока живым.

Пусть и имело это правило некоторые исключения.

Считалось, что, не успев став врагом при жизни, товарищ и в дальнейшем таковым не станет, от живого же можно ждать всякого.

Следовательно, приняв рекомендованного Менжинским человека, убедившись, что влиянию преемников Председателя ОГПУ он не подвержен, Сталин мог быть почти стопроцентно уверен, что Валентин останется его верным... Не слугой, конечно, нужных именно для этой роли качеств он не имел, а ближайшим помощником в вещах сугубо деликатных.

Тем более что Лихарев отличался целым рядом совершенно невероятных, подчас взаимоисключающих качеств: гигантской эрудицией почти во всех областях, острым и быстрым умом, умением абсолютно точно угадывать настроения и желания вождя, мог спорить, когда Сталину этого хотелось, соглашаться и поддерживать любое сказанное Хозяином слово во все прочее время, сохраняя и в том и в другом случае великолепное чувство собственного достоинства, без тени лакейства.

А также, иногда исполняя, а иногда и предвосхищая грядущий социальный заказ, мог отыскать убедительный компромат на кого угодно.

С большой долей уверенности можно сказать, что их отношения напоминали отношения умного средневекового монарха с не менее, а то и более умным шутом.

А главное – Лихарев один мог заменить половину Секретариата ЦК и приличную часть центрального аппарата НКВД. Как у него это получалось, Сталин давно уже не интересовался, то есть не вникал в технологию, не раз и не два убедившись, что информация Валентина досто-

верна абсолютно и напрочь лишена конъюнктуры. И еще одно – любое задание Валентин мог исполнить буквально за несколько часов: доклад ли составить, полсотни источников проанализировать или полузабытую цитату из неизвестной книги найти. И работать без сна мог сутками, превосходя в этом даже самого Сталина.

Только на час-другой выйдет из кабинета, якобы в библиотеку или архив – и пожалуйста. Как в русской сказке – пойдешь туда, не знаю куда...

Этого Сталин понять до конца не мог, но ценил. Разобраться, если потребуется, можно и позже, а пользоваться нужно сейчас.

Еще в самом начале их «сотрудничества» Лихарев как-то сказал вождю:

– Товарищ Сталин, я хоть и коммунист, но кое в чем с Христом согласен. Беру с него пример.

– В чем же?

– Он говорил: «Пусть слова ваши будут: да – да, нет – нет, остальное же от лукавого». Вот и я хочу, чтобы вы это знали.

– Что именно? Библию и Евангелие я изучал задолго до вашего рождения. Надеюсь – не хуже.

– Что я руководствуюсь на службе этим же принципом. У вас много людей, которые тщательно продумывают, что, как и когда сказать. Я же буду говорить абсолютную правду. Как американский врач американскому пациенту...

– А как он это делает? – заинтересовался Сталин.

– Довольно-таки просто. «На что жалуетесь? Раздевайтесь. Так, все понятно, одевайтесь. У вас неоперабельный рак в последней стадии, умрете через три месяца, если будете принимать вот это, проживете на полгода дольше...»

Сталин с минуту молчал, размышляя, как следует отреагировать. Можно было – по-разному. Наконец он сделал выбор. Засмеялся благодушно-одобрительно.

– Наверное, вы правы, товарищ Лихарев. Кто-нибудь должен играть роль такого врача. Кому-то может показаться жестоким такой подход, но для настоящего большевика он правильный. Владимир Ильич, когда тяжело заболел, тоже обратился не к Троцкому, не к Бухарину, не к жене даже, а ко мне. «Коба, – сказал он, – если мне станет совсем плохо, дай мне яду».

Причем доверил мне самому определить, когда настанет нужный момент.

Сталин по-доброму, лукаво улыбнулся в усы. Очевидно, воспоминание о таком доверии старшего товарища было ему приятно.

– Но, в свою очередь, и вы не должны обижаться, товарищ Лихарев, – пыхнув трубкой, добавил он, – если когда-нибудь и вам скажут нечто подобное. Или нет?

– Почему же нет, товарищ Сталин? Лишь бы для пользы дела.

С тех пор вождь проникся к порученцу особым, чисто сталинским уважением. Ему нравилось еще и то, что Валентин не прикидывался бесстрашным героем, способным, рванув на груди рубашку, кинуться на пулеметы. Нет, он выглядел, а наверное, и был на самом деле аналогом стойка античных времен вроде Сократа, позволявшего себе говорить и делать, что считал нужным, но и выпить, когда обстановка потребовала, чашу цикуты без видимых отрицательных эмоций.

Каким образом Лихарев сумел в свое время завоевать доверие Менжинского и кто протезировал ему в первые послереволюционные годы, установить оказалось невозможно за давностью времени и отсутствием документальных свидетельств, но Сталин этим и не интересовался. Важно, как человек ведет себя сейчас, а прошлое...

Что же теперь, наказывать Вышинского за то, что подписал в 17-м году ордер на арест Ленина, или прощать Егорова, вспомнив, как вместе пытались (но не сумели) взять Варшаву и рвануть на Берлин?

Лихарев перебросил два тумблера на панели полированного деревянного ящика, очень похожего на патефонный, только с двумя большими плоскими катушками вместо суконного диска, на который ставят пластинки. Где-то на Западе инженеры, придумавшие это новейшее устройство, записывающее звук на тонкую нихромовую проволоку, назвали его магнитофоном.

А сам он встал, потянулся со стоном, вышел из кабинета-лаборатории в обширную, освещенную мутноватым из-за метели, но все равно ярким дневным светом гостиную.

Конечно, вся эта квартира была явно ему не по чину. Не у каждого члена правительства или секретаря Союза писателей была такая, а военные ниже комбригов и комдивов вообще сплошь жили по коммуналкам. Здесь же за распахнутыми дверями угадывались еще и другие комнаты, и полутемный коридор казался бесконечным, да, наконец, гулкое эхо шагов намекало на обширность и пустоту помещений.

Пять уютных комнат, просторная прихожая, большая кухня и при ней комнатка для прислуги.

Всего-то 120 метров жилой площади, если не меньше. Цивилизованному человеку в самый раз. Но здесь считается, что человеку лучше жить подобно муравью, непрерывно цепляясь плечами за себе подобных, круглые сутки слыша их голоса, наблюдая процессы жизнедеятельности, обоняя все мыслимые и немыслимые запахи. Коммунальная, от слова «коммунизм», жизнь.

Зато легко и просто надзирать каждому за каждым. И доносить «куда следует» быстрее, чем виновный успеет осознать опрометчивость своих слов или поступков.

Лихарев остановился у среднего окна гостиной. За двойными стеклами горизонтально летели струи снежинок, закручиваясь вихрями. Крыши домов напротив едва различались в белой мути.

Он долго любовался единственно неподвластным ему в этом мире – буйством стихии.

Красиво, черт возьми. Даже не поймешь, что лучше – шторм на море, огонь костра на лесной полянке или такая вот пурга посередине огромного города.

Казалось, снег будет идти и идти, не переставая, свиваться в тугие смерчи вдоль улиц и переулков, заваливать сугробами дворы, ложиться шапками на крыши, пригибая к земле деревья, пока не засыплет город до самых печных труб, а то и выше, словно где-нибудь в Гренландии...

Глава 9

Утром Шестаков проснулся не только без малейших признаков похмелья, но даже и без так называемой «адреналиновой тоски», когда после хорошего возлияния испытываешь неопределенное, но мучительное чувство вины неизвестно за что, пытаешься вспомнить, не сказал ли лишнего, не оскорбил ли кого, угнетенность и острое нежелание вновь возвращаться в омерзительно реальный мир, который не сулит ничего хорошего.

Напротив, пробуждение было приятным.

Он лежал на застеленном свежим бельем диване, в комнате чудесно пахло смолистым деревом, потолок над головой и стены вокруг были из золотистых досок, без побелки и обоев, гладко выструганы фуганком, напротив – самодельные книжные полки до потолка и самодельный же письменный стол, на нем – пузатая медная керосиновая лампа с зеленовато-молочным стеклянным абажуром поверх длинного, чуть закопченного стекла.

Где-то за пределами поля зрения мерно и громко тикали часы. И по-прежнему завывал ветер за покрытым густым морозным узором окном. Так, что моментами казалось, будто весь дом вздрагивает от порывов ветра и ударов снеговых зарядов. А в комнате тепло, уютно, не хватает только запаха пирогов, чтобы вообразить себя ребенком в первый день рождественских каникул.

Шестаков скосил глаза и увидел рядом отвернувшуюся к стене, тихо посапывающую во сне жену. Длинные распущенные волосы рассыпаны по подушке. Вроде бы нормальная утренняя картина. Но отчего все вдруг стало вновь непонятно и даже жутковато?

Словно соскочила заслонка в памяти.

Что-то странное ночью все-таки случилось.

Как шли они с Власьевым от банки через метель, проваливаясь в сугробы чуть не по колено, поддерживая друг друга и еще пытаясь о чем-то говорить, хоть ветер и снег забивал слова обратно в глотку, Шестаков помнил. И как довел его Николай Александрович до двери комнаты – тоже. А дальше он вроде полностью отключился? Когда пришла к нему Зоя? Или она уже лежала в постели? Она ему что-нибудь сказала?

Пустота в голове.

И вдруг...

Да нет, такого быть не могло, это ему лишь приснилось. Но отчего вдруг так отчетлив странный сон?

Он опустился на край разобранной постели. Разделся, лег. Был совершенно трезв, только никак не мог понять, где и почему вдруг оказался. Ведь он же в Лондоне? Откуда там такая обстановка? И за окном пурга. А только что ведь было лето? Ничего не понимаю.

Небольшая дверь посередине правой стены вдруг открылась. С горящей керосиновой лампой в руке вошла незнакомая женщина. От высокого желтого язычка пламени внутри пузатого стекла по стенам запрыгали ломкие черные тени. В ярком, хотя и колеблющемся свете лампы видно было, что женщина, пусть и не слишком молодая, довольно интересна.

Светлые распущенные волосы чуть ли не до пояса, прямой нос, высокие, резко очерченные скулы, красиво вырезанные, хотя и чуть крупноватые губы. Длинная шея.

Такое впечатление, что он ее где-то уже видел. В кино?

Женщина поставила лампу на край стола, притворила за собой дверь, мельком глянула в его сторону, пожала плечами и не спеша начала стягивать через голову длинное платье. Потом, тоже не торопясь, все остальное.

Он лежал, почти не дыша. С мгновенно пересохшим ртом. Подобный случай уже был в его жизни, но очень давно. На институтской преддипломной практике в Пятигорске. Тогда он

тоже стал случайным свидетелем, как, не подозревая о его присутствии, раздевалась молодая симпатичная докторша.

На ночном дежурстве в санатории он забрался в укромный уголок, чтобы покурить на подоконнике процедурного кабинета, откуда открывался чудесный вид на Горячую гору и ярко освещенный центр города, помечтать, глотнуть хорошего винца.

Июль стоял удивительно жаркий, даже после полуночи духота не спадала, вот и решила дежурная докторша – как ее звали? Да, Лариса Владимировна, заведующая терапевтическим отделением, – слегка освежиться. А дверь зала радоновых ванн не закрыла, чтобы услышать телефон, если вдруг зазвонит в ординаторской.

О том, что еще кто-нибудь, кроме нее, может оказаться в столь поздний час в этой части санаторного корпуса, она, конечно, и вообразить не могла.

Примерно те же чувства, что пятнадцать лет назад, он испытывал сейчас, наблюдая, как незнакомая женщина стянула с себя последнее. И оказалась поразительно хороша. Без всяких скидок. Фигура, формы, движения.

Довольно долго она разглядывала себя в огромном, больше человеческого роста, зеркале. Держа лампу, как факел, в отставленной и поднятой руке, то всматривалась в свое лицо, то, отступив назад, изгибала по-разному талию, поворачивалась в профиль и даже спиной, выворачивая голову до крайнего предела, будто стараясь рассмотреть нечто крайне для нее важное.

Судя по лицу, ей можно было дать лет тридцать пять, но тело выглядело значительно моложе. Гладкая кожа, подтянутый живот, не слишком большая, но крепкая, ничуть не оплывшая грудь.

Он даже прикусил губу, чтобы не выдать себя шумным дыханием.

Но кто же она и что тут делает? Вернее, что тут делает он, а женщина, похоже, у себя дома.

Наконец, видимо, удовлетворенная осмотром, она прошла по комнате, покачивая бедрами, остановившись в двух шагах от изголовья постели, надела длинную ночную рубашку, потом задула лампу.

Довольно бесцеремонно перешагнула через него, толкнув в бок, легла у стены, потянула на себя край одеяла.

Скорее инстинктивно, чем осознанно, он положил ладонь на грудь женщины.

– Ты что, не спишь? – удивленно, но спокойно спросила она. – Я думала, вы с Николаем Александровичем до чертиков набрались.

Не понимая, о чем идет речь, но осознав, что женщина его не прогоняет, он продолжил. Потянул вверх край рубашки, стал шарить жадными дрожащими руками по незнакомому, но восхитительному телу. Тем и восхитительному, что незнакомому.

– Что это вдруг с тобой? – В шепоте женщины прозвучали и насмешка, и кое-что еще. Она не отстранилась, напротив, тоже обняла его. И даже поудобней повернула голову, подставляя губы. – Ого! Действительно. Давно пора было уехать. Ты правда меня еще любишь?..

Не отвечая, потому что нечего было отвечать, он продолжал ласкать ее, одновременно мучительно пытаясь вспомнить хотя бы имя. Такого с ним еще не случалось. С другими – да, он слышал о подобном, но чтобы самому напиться так, что и не знать, как и в чьей оказался постели?..

Женщина, похоже, настолько соскучилась по этому делу, что не настаивала на ответе. Неровно, сбивчиво дыша, она шепнула ему в ухо:

– Ну ладно, ладно, действуй, что ли.

Шестаков помотал головой, садясь на постели. Такое впечатление, что они с Зоей занимались этим всю ночь напролет. Даже поясницу ломит. Ну да, все так и было, вон губы у нее распухшие, а на груди и шее багровые следы поцелуев.

Но что же все-таки произошло? Не белая ли вдруг горячка? Это же надо – не узнал собственную жену! И в то же время такие яркие воспоминания.

Только о чем?

Какой вдруг Пятигорск, молодая докторша? Он там вообще был один раз в жизни, на экскурсии, когда лечился в Кисловодске. И уж тем более никогда не был студентом-медиком. И не курил, сидя на подоконнике, длинных сигарет с фильтром. И ни одна из его знакомых девушек или женщин не носила цветных полупрозрачных трусиков в ладонь шириной, кружевных, сильно открытых бюстгалтеров, неизвестно почему называемых «Анжелика», не пила, так и не застегнув белый халат, венгерский (?) вермут из картонного стаканчика и не занималась с ним любовью на узкой кушетке процедурного кабинета под музыку каких-то «Битлов» из маленького плоского транзистора.

Такого не было и просто быть не могло! Даже и слов, неожиданно легко пришедших в голову, он никогда раньше не слышал, вряд ли сможет объяснить, что они на самом деле значат.

Неладно что-то с головой, товарищ нарком, ох, неладно. Или после вчерашнего в уме повредился, или, наоборот, сначала с фазы сдвинулся, а потом уже чекистов начал бить.

Шестаков босиком прошлепал к окну. Чуть приоткрыл форточку, откуда сразу рванул в комнату морозный ветер с искристой снеговой пылью. Закурил папиросу, а никакую не сигарету. Окончательно приходя в себя, покрутил головой.

Ну, ладно. Чего не бывает. Выпили крепко вчера с Власьевым. Потом действительно вспомнили с Зоей молодость. На фронте тоже так бывало, после боя неудержимо тянуло к женщине.

Какие «провороты» моряки на берегу устраивали, и офицеры и матросы. В борделях Гельсингфорса и Ревеля дым стоял коромыслом, очень мягко выражаясь.

Вот и он вчера так.

А сон уже позже привиделся. Как там Павлов писал: «Сон – небывалая комбинация бывших впечатлений». Яркий – да, непонятный – тоже да, но мало ли как и что может в воспаленном переживаниями и алкоголем мозгу преломиться. Книга, давно прочитанная, вспомнилась или в кино что-то похожее видел, а то и на пирушке хмельные друзья давними подвигами хвастались.

На том и следует остановиться, чтобы действительно с нарезов не сойти.

Он нашел глазами напольные, с двумя медными цилиндрами по бокам от маятника, часы.

Десять минут десятого. С незапамятных времен нарком не просыпался так поздно. А на улице все равно сумеречно. Мало, что январь, так еще и пурга, и многокилометровый слой туч между поверхностью Земли и Солнцем.

Выбросил окурочек в форточку, потянулся, присел несколько раз, помахал руками, изображая нечто вроде утренней зарядки.

Тело слушалось великолепно и было, пожалуй, отзывчивее на команды мозга, чем вчера или когда-то в обозримом прошлом.

Захотелось сделать что-нибудь такое... Покрутить «солнце» на турнике, к примеру, побоксировать, саблей помахать, прыгнуть с вышки в бассейн...

«Какой бассейн, когда ты в нем плавал?» – одернул он сам себя. В море, в речке на даче – бывало, а в крытом бассейне с голубой хлорированной, а то и подогретой морской водой, с упругой доской трамплина?..

Да было ли, не было – неважно. Опять мысли из той же оперы. Решил забыть – значит, забыть. Главное – чувствовал он себя гораздо лучше и бодрее, чем когда-либо за последние пятнадцать лет.

И помещение, где он оказался, очень уж не соответствовало той деревенской, хотя и просторной, и чистой избе, где принимал их Власьев вчера. Если передние комнаты отвечали облику захолустного, нелюдимого бобыля-егеря, то этот явно рабочий кабинет и видимая через полуоткрытую дверь соседняя комната куда больше подходили просвещенному помещику прошлого века, естествоиспытателю-самоучке, не лишенному вдобавок художественного вкуса.

Кресло у стола было искусно сделано из громадных лосиных рогов, стулья заменяли причудливые, слегка обожженные и покрытые лаком пни.

На стенах – охотничьи ружья: две вполне ординарные двустволки, еще два очень неплохих вертикально-спаренных штуцера, может, бельгийской, а может, и английской работы, и еще совсем раритет – длинная капсюльная шомполка солидного калибра, как бы не десятого.

В следующей комнате, узкой и длинной, с тремя окнами и круглой печью голландкой в углу, стены тоже занимали полки, на которых выстроились многочисленные чучела птиц и лесных зверьков, стояли банки с какими-то растворами, на верстаке располагалась целая таксидермическая мастерская, простой дощатый стол загромождали книги, колбы, реторты и очень приличный биноккулярный микроскоп.

И еще одна дверь, и там – шкуры на полу, кресла, настоящий, пусть и маленький рояль, причем не довольно обычный в семьях интеллигентов средней руки «Юлиус Блютнер», а подлинный «Стенвей». До половины сгоревшие свечи в подсвечниках над клавиатурой. И ноты разбросаны по крышке. Поигрывает, выходит, Николай Александрович и здесь. Сам для себя, долгими зимними вечерами. Шестаков вспомнил, как почти профессионально, с чувством, играл старший лейтенант в кают-компании Вагнера. Заслушаешься.

Недурно устроился старлей Власьев! Прямо тебе убежище капитана Немо на острове Линкольна. А книг-то, книг! Откуда столько в тверской глуши?

Впрочем, это как раз и не удивительно – после революции столько помещичьего добра растащили хозяйственные крестьяне по домам, а после раскулачивания много неинтересного комбедовцам имущества снова оказалось бесхозным. Было бы желание.

Также и в Москве, а особенно Ленинграде, после высылки «чуждых элементов», после голода начала тридцатых в комиссионках и на толкучках почти задаром можно было приобрести все, что угодно, вплоть до картин импрессионистов и фамильных драгоценностей знатнейших родов империи...

Оставив Зою спать, Шестаков оделся и вышел в передние комнаты. Ребята уже давно встали и, деловитые, сосредоточенные, гордые оказанным доверием, помогали «дедушке Коле» набивать ружейные патроны.

– С добрым утром, Григорий Петрович. Как поживалось на новом месте? А я думал, вы и еще поспите. – Шестакову показалось, что в бороде егеря промелькнула мимолетная улыбка. Да уж. Зоя, кажется, не слишком сдерживалась, мог и услышать. Ну, не беда, должен понимать. – А мы тут занятие нашли. На улице вон какая погода, не для гулянья, так мы пока патрончиков набьем. Для будущей заячьей охоты.

Оставили ребят развешивать дробь, вышли покурить в сени. Продолжая присматриваться друг к другу, говорили о пустяках – что приготовить на обед, какие работы по хозяйству нужно сделать обязательно, невзирая на метель, не отправить ли сыновей очищать лопатами дорожку от крыльца к амбару.

После позднего завтрака Зоя, переодевшись в какое-то старенькое платье, гладко, по-деревенски зачесав волосы, принялась за уборку и мытье посуды. О минувшей ночи она Шестакову ничего не сказала, но время от времени посматривала на него со странным выражением. А у мужчин состоялся наконец деловой разговор.

– Вы, Григорий Петрович, наверное, уже имели возможность подумать о происшедшем спокойно? – спросил Власьев, пригласив его в свою лабораторию. Он плотно притворил дверь, подбросил несколько поленьев в печь.

– Более чем, – сказал нарком, радуясь возможности отвечать своему бывшему командиру раскованно и непринужденно. Хотя бы даже оставаясь в полной от него зависимости. – Я думал об этом, как бы это сказать получше – подсознательно. Поскольку иным образом думать не мог. Пьян был до изумления. А вот, поди ж ты... Проснулся – и все мне ясно и понятно стало.

– Что же? – с любопытством спросил Власьев. – Как Раскольникову Родиону?

– Нет. Как другому Раскольникову. Федору. Да вы его знаете. Бывший гардемарин, затем заместитель у Дыбенко, командующий Каспийской флотилией, потом полпред Советской России во Франции, невозвращенец, осознавший, что Сталин и его власть – худший вариант из возможных, не только в нашей стране, но и вообще в истории человечества.

Шестаков говорил сейчас истинную правду. Во время эротических снов и не менее эротической яви он, оказывается, успел обдумать еще и мировоззренческие проблемы.

– Вот как? Раскольников я помню, хам редкостный, не понимаю, как он мог в корпусе учиться. При первой встрече с англичанами струсил, добровольно флаг на «Спартаке» спустил. Дальнейшей его карьерой не интересовался, но про Сталина мысль интересная. То есть – еще один из подобных вам, заблуждавшихся, но осознавших? И чем его открытие закончилось?

– Чем? – Шестаков задумался. Он отчетливо помнил, что после того, как Раскольников опубликовал свое открытое письмо Сталину в западных газетах, его убили, как Троцкого, но было это, кажется, в 39-м или даже 40-м году. А сейчас какой? Тридцать восьмой в самом начале. Тоже странно, по определению, но в то же время – вполне естественно. Отчего бы ему и не знать будущего, если оно предопределено?

– Не важно, – нашел он наконец достойный ответ. – Главное – понять истину. А она непременно сделает нас свободными. И как ныне свободный человек, я говорю вам, Николай Александрович: жить в этой стране я не хочу и не буду. Следовательно...

– Эмиграция? Не поздновато ли? Отчего же – возвращаю вам вчерашний вопрос – вы сами не захотели уйти вместе с нами в Финляндию в 21-м?

– А потом? – усмехнувшись, ответил ему Шестаков. – Уйти ведь вполне можно было и в 21-м, и в 22-м тоже. Я-то ладно, у меня оставались кое-какие иллюзии, но вы зачем живете здесь столько лет? Под гнетом сирийского режима?

– На режим, кстати, мне плевать, – почти спокойно ответил Власев. – Я здесь и сейчас вряд ли не свободнее, чем был в царское время. Не завишу ни от кого. Почти. В моем распоряжении десятки тысяч гектаров леса, два обширных плеса, острова. Больше, чем у любого помещика екатерининских даже времен, и я гораздо более бесконтролен, потому что большевикам по большому счету совершенно безразлично, что и как делается, если не затрагивает самих основ режима.

Вы думаете – власть коммунистов безмерна, поскольку сами к ней принадлежали. А это не так, далеко не так. Она сосредоточена только в тех сферах, которые они в состоянии сами себе вообразить. В остальном же... Да вот великолепный пример – мой дом. Обыкновенная крестьянская изба, но одновременно... И никого, кроме вас сейчас, я туда не пускал. Поскольку это мой собственный мир.

Я не ушел в эмиграцию и был прав. Мне здесь веселее... Даже исходя из публикаций советской прессы. Может быть, будучи Шалыпиным или Буниным – как-то можно устроиться. А кому нужен флотский минер, старший лейтенант? Даже и унтером в английский или французский флот вряд ли взяли бы... Таксистом же в Париж – увольте.

– Тут вы не совсем правы. Как раз флотские минеры союзников весьма интересовали. Колчаку, кстати, они предлагали адмиральский же чин в американском флоте именно в этом качестве. И вас бы вряд ли обидели. Или возьмите Финляндию. Маннергейм бывших русских офицеров весьма привлекает, и флот у него есть. Но это к слову. А теперь? Чувствую, что-то для вас изменилось?

– Теперь – другое дело. Нам с вами здесь не укрыться и не выжить.

– Нам с вами? – удивился Шестаков.

– Конечно. Видимо, пришло время разбрасывать камни...

И нарком в душе немедленно с ним согласился. Мало, что способов выжить в Советской России после всего случившегося не было никаких, он еще и каким-то шестым чувством пони-

мал, что оставаться здесь не следует в силу еще и неких высших исторических причин. Каких именно – он пока не знал.

Спросил только:

– Ну, если даже и нам с вами вместе – так как и куда?

– Проще всего – в ту же Финляндию. Через карельскую границу, поскольку линию Маннергейма нам не преодолеть ни в каком виде. А от Петрозаводска – можно. Тем более – у меня там приятели имеются как раз такой склонности характера.

– Какой? – не понял Шестаков.

– Носить через границу товары повседневного спроса. Контрабандой это еще называется. Откуда, по-вашему, берутся на черном рынке заграничные чулки, презервативы, одеколон, бритвенные лезвия? Родная потребкооперация их не производит... И советские пограничники промышленной контрабанде как раз особенно и не препятствуют. Или свой интерес имеют, или сверху установка такая. В какой-то мере товарный голод удовлетворяется. Вот если идейные враги из страны бежать пытаются – тех ловят умело и беспощадно. А мои честные контрабандисты десятилетиями ходят – и ничего.

– Согласен. Если найдутся люди, способные нас через границу перевести, я согласен. Мне лично жизнь не дорога, но Зоя, ребята... Им в лагере умереть я не позволю.

– Приятно слышать внезапно прозревшего советского чиновника, – вновь скривил губы Власьев. – Только ведь такой переход денег стоит...

– Деньги у меня есть.

– Много ли?

Шестаков торопливо вскочил, принес из соседней комнаты свой саквояж.

Выбросил на стол конверты с зарплатой за последние месяцы.

Власьев вскрыл их со скептическим интересом. Денег даже на глаз было довольно много, по советским меркам. Около сорока тысяч.

– Как думаете, этого хватит? – Нарком внезапно смутился. – Я в нынешних ценах не очень разбираюсь. За путевки, одежду, питание бухгалтерия сама вычитает, а по магазинам уж не помню когда и ходил. Недосуг. В театре у Зои был несколько раз, так опять же по контрамарке...

Власьев хмыкнул.

– Неплохо устроились. Здесь, у нас, если жить на уровне врача, учителя, заводского рабочего, – лет на десять хватит. А если по-другому считать, исходя из коммерческих цен... – Старший лейтенант пожал плечами. – До весны на моих запасах протянем. В смысле – на еду тратиться не нужно. Почти. А до Петрозаводска впятером доехать, тому дать, другому, третьему... В погранзону попасть, контрабандистам заплатить... Вот и все ваши деньги. – Он посмотрел на наркома выжидающе.

– У Зои еще кольца есть, перстни с рубинами и бриллиантами...

– Тоже сгодится. Это на той стороне пограничникам и чиновникам уйдет. На паспорта, разрешение на жительство. Если... Вы «Золотой теленок» читали?

– Да уж...

– И что вам останется делать с женой и двумя малыми детьми в Финляндии? Без денег, без языка и связей?

Шестаков развел руками:

– Я инженер. Неплохой. Могу даже мастером на завод пойти...

– Ну-ну... А я думал, вы остаток жизни хорошо надеетесь прожить. И я бы не прочь. Причем учтите, стоит вам заикнуться о своем подлинном имени и должности – там будет вряд ли лучше, чем здесь. Сначала вами займутся местные разведслужбы, потом могут передать вышестоящим. Если агенты НКВД не подсуеются раньше.

– Так что же, по-вашему, делать нужно?

– А вот послушайте мой вариант... Только... Давайте оденемся, на улицу выйдем, свежим воздухом подышим. Там и поговорим.

Шестаков удивился. Зачем на улицу? Здесь вроде бы подслушивающих устройств еще не существует. Да и метель... И только потом понял, что Власьеву действительно захотелось просто прогуляться. И служебный долг, превратившийся в свойство характера. Пройтись с ружьем по окрестностям, браконьера ли выследить, порубщика леса, глухаря или зайца подстрелить на ужин, лису на продажу.

И хозяин тут же его предположение подтвердил:

– У меня там капканы поставлены, лосям и косулям сенца и веников в кормушки подбросить надо. Привыкло зверье, что я их не забываю... – В голосе Власьева прозвучала скрытая нежность к своим подопечным.

– Ну, пойдем в таком случае...

Зое егерь открыл свои кладовки и подвалы, попросил приготовить «по-настоящему хороший обед, переходящий в ужин». Отвык, мол, от женской кухни и приличного общества.

Оделись, вышли, прихватив с собой двустволку, трехлинейный карабин и «трофейный» автомат. Пока Шестаков на крыльце пристегивал к унтам широкие охотничьи лыжи с мягкими креплениями, Власьев запряг буланую смирную лошадь в розвальни, груженные брикетами сена, спустил с цепи собак, которые, коротко взлаивая, унеслись вперед, бороздя рыхлый снег.

Для прогулки момент был не самый подходящий, снег сек глаза, за ночь превратившись из крупных и рыхлых хлопьев в жесткую, как каракумский песок, крупу. Ноги даже на лыжах глубоко зарывались в сугробы. Однако стоило им зайти в распадок, под прикрытие громадных двадцатиметровых елей, распутивших лапы до самой земли, и тесно стоявших меднокорых сосен, как сразу стало почти тихо.

Снежные змеи вились вдоль опушки, далеко вверх раскачивались остроконечные треугольные вершины, окутанные вьюжной муťou, а внизу порывы ветра почти и не чувствовались. И говорить можно было, не напрягая голоса.

Они прошли по лесу километр или полтора, вышли к краю глубокой лощины, по дну которой, как помнил Шестаков, проходила летом грунтовая дорога.

Власьев присел на вывернутый давними бурями ствол дерева, указал рукой наркому место рядом. Разлапистый комель с торчащими обломками корней надежно прикрывал их и от ветра, и от человеческих взглядов – если б было кому смотреть с той стороны.

Свистнул собакам, которые успели обежать окрестности и вернулись, никого не обнаружив, ни зверя, ни человека. Они, словно исполняя устав караульной службы, устроились метрах в десяти справа и слева от края обрыва, свесив языки, но при этом настороженно поводя ушами.

– И для чего мы сюда пришли? – спросил, пряча папиросу от снега за поднятым воротником реглана, Шестаков. – Думаете, «хвост» за собой привел? Или жене моей не доверяете?

– Я, Григорий Петрович, семнадцатый год абсолютно никому и ничему не доверяю. Оттого, наверное, и жив пока что. Сейчас – то же самое. Можно допустить, что выследили вас или не выследили, а просто догадаться могли, куда вы скроетесь. Проговорились невзначай, что есть у вас такое вот приятное место отдохновения, а кому нужно – на карандашик взяли...

– Говорить – никому не говорил. Но, так если даже... Тогда ведь не спастись...

– Ну, обижаете. Вы же от своих ночных гостей избавились успешно? А зимний лес – не квартира московская. Батальон или даже роту на ваши поиски не пошлют. А если сильно настырных человек пять-десять появятся – тут до весны и останутся. – Власьев провел рукой в шерстяной перчатке по граненому казеннику винтовки. – На случай же чего – хочу вам одно место показать. Вот – смотрите.

Они перебрались на другую сторону лощины. Власьев указал на глубокую засечку, сделанную топором на стволе сосны. Похоже – довольно давно, смола заполнила ее почти вровень с корой.

– Отсюда – двести метров до следующей, вот по этому азимуту.

Через пару километров они вышли к небольшой полянке, окруженной плотно стоящими елями. Среди них притаилась крошечная избушка, по крышу утонувшая в сугробе.

– Прямо Фенимор Купер какой-то у нас получается, а не эпоха развернутого наступления социализма по всему фронту. – Шестаков сказал это со странным чувством, словно бы вполне принимая происходящее как данность.

– Само собой. Они – как бы колонизаторы в этих краях, а мы, соответственно, вольные трапперы. Давайте снег разгрести.

Внутри избушка была разделена дощатой перегородкой на совсем узкие сени – только-только повернуться да лыжи поставить – и комнату примерно три на три метра, с чугунной печкой-«буржуйкой» в углу, самодельным столом, табуретом и длинным сундуком, который одновременно был и лежанкой. Посередине стола стояла медная керосиновая лампа.

– Вот-с. Приют уединения. Вдруг что случится, здесь свободно можно отсидеться. Зиму перезимовать, а уж летом тут раздолье. Кустарник зазеленеет – в двух шагах избушку не увидите. В сундуке кое-какая посуда, инструмент, порох, свинец, иной необходимый припас. Лески, крючки, грузила. Даже ружьишко кремневое, чтобы без капсюлей и гильз обходиться. Если чуть выше по склону подняться, там бурелом, десяток человек перестрелять можно, пока они сообразят, что к чему. Тропинка здесь одна, а вокруг – топи непроходимые. Чудесное местечко. У меня и еще такие есть.

Шестаков покуривал, слушал товарища, кивал, словно совершенно естественно было на двадцать первом году Советской власти сидеть в скиту, будто раскольникам времен Тишайшего Алексея Михайловича, в глухом зимнем лесу и готовиться встретить сотрудников НКВД, как каких-нибудь стрельцов, посланных на отлов сторонников Аввакума, или гуронов, вышедших на охоту за скальпами бледнолицых.

И более того – ему это нравилось, никаких угрызений партийной совести он больше не испытывал, как не испытывали их персонажи любимых в детстве приключенческих книг.

«Вот ведь интересно, – думал нарком, – в тех книгах действительно понятие «совести» или «морального права» убивать врагов авторами даже и не рассматривалось. Ни у Буссенара, ни у Майн Рида я такого не помню».

Власьев посмотрел на него с интересом, стряхнул с усов образовавшийся от дыхания иней, тоже вытащил кисет.

– Может, печку растопим, чего в холоде сидеть? Печка здесь добрая, с двух поленьев докрасна раскаляется, если их, конечно, в лучину поколоть. Сейчас увидите. Я, пожалуй, стал здесь от многолетнего одиночества немного сумасшедшим, а вот вы... Непонятно мне, что с вами все же произошло. За сутки человек так поменяться не может... – Он помолчал, прикуривая, потом продолжил: – Но пока это не слишком важно. Примем как данность. Я ночь не спал, думал. Решил, во-первых, вам поверить, а во-вторых – взять на себя общее руководство предстоящей операцией. Вы уж извините.

– За что же извинять? – удивился Шестаков. – Думаю, вы знаете, на что идете. И какой-то план имеете...

– Непременно имею. Вы себе представить не можете, сколько интереснейших сюжетов приходит в голову, когда месяцами не с кем словом перемолвиться, кроме как с собаками и кошкой. Первые годы своего отшельничества я все больше прошлые события переживал, думал, в чем ошибки допустил, как себя иначе вести бы следовало, в семнадцатом, восемнадцатом, двадцать первом году... А потом о будущем задумываться стал. Да не просто задумы-

ваться. Семнадцать лет – это ведь не шутка. Граф Монте-Кристо примерно столько лет в одиночке просидел? И кем стал в результате?

Продолжая говорить, Власьев отточенным до остроты бритвы плоским австрийским штыком наколол щепы, растопил «буржуйку», которая на самом деле мгновенно загудела, словно аэродинамическая труба. Через несколько минут иней на трубе и стенах начал таять, нарком стянул с головы шапку и расстегнул полушубок.

– Так вот, наблюдая за реалиями советской жизни, я, как и означенный граф, столько всяких прожектов наизобретал... Впрочем, – махнул рукой Власьев, – не об том сейчас речь. Сюжеты сюжетами, а вот как быть практически...

Не торопясь, тщательно подбирая слова, бывший старший лейтенант начал излагать Шестакову свои соображения.

Выходило так, что для того, чтобы уйти за границу, через Финляндию дальше на Запад, для начала хотя бы в Швецию, а потом лучше всего куда-нибудь в Америку, можно и в Южную, поскольку в Европе все равно в ближайшие годы непременно начнется война и будет она пострашнее предыдущей, нужны деньги. И деньги приличные.

– Без десятка-другого тысяч фунтов или долларов там делать нечего. Тут все очевидно. Паспорта оформить, придется соответственно, билеты на пароход купить, в первом классе, разумеется, на новом месте устроиться. Взятки ведь придется давать направо и налево... Ваши драгоценности на две-три тысячи фунтов потянут, я уже прикинул. У меня еще тыщонки на три царских монет имеется, пара часов золотых, портсигар хороший, призовой. Но все равно мало, очень мало... Был бы я шулером, в первом же европейском кабаке мог недостающее выиграть, а так...

Шестаков испытывал сильное сомнение, что и сейчас в Европе остались кабаки, где по крупной играют в карты, Власьев явно путает тридцать восьмой год с десятым или двенадцатым. Но спорить не стал. Не о том сейчас речь.

– Поэтому напрягите воображение, Григорий Петрович, нет ли способа где-нибудь в Москве нужной суммой разжиться?

– Да где же? Разве Торгсин ограбить или сразу Внешторгбанк? Поскольку нам ведь не советские рубли нужны, а нечто более солидное?

– Зачем же сразу банк? Знакомые, может, есть состоятельные? После гражданской войны и нэпа много чего у людей к рукам прилипло. У вашей же жены, не в обиду будь сказано. Наверное, и еще кто-нибудь антиквариатом увлекался... Нет?

Настолько успело измениться мироощущение наркома, что без всякого внутреннего протеста, не удивившись даже, по какой такой причине Власьев заговорил с ним, как с уголовником, которому добыть кражей или грабежом немислимую по советским меркам сумму – раз плюнуть, слушал Шестаков егеря. Позавчера еще предложи ему кто угодно раздобыть неправомерным путем хотя бы даже тысячу рублей, он удивился бы самому факту такого предложения, потом возмутился бы, еще что-нибудь сделал, а сейчас?

На полном серьезе он начал перебирать в памяти близких и не очень близких знакомых, у кого можно без особого труда и риска «экспроприировать» необходимое. То ли силой, то ли шантажом... Впрочем, воспринял он это скорее как головоломку или шахматную задачу, отнюдь не всерьез. Как способ отстраниться от реально уже случившегося, уйти в своеобразную интеллектуальную игру.

И даже успел припомнить кое-какие отвечающие условиям кандидатуры, как вдруг... Он даже чуть было не шлепнул себя ладонью по лбу. Господи, какая там кража, какой шантаж! Неужели правда с головой так плохо, что даже об этом он забыл?

Очевидно, выражение его лица настолько изменилось, что Власьев хмыкнул удовлетворенно.

– Вот видите! Значит, я не ошибся. Есть у вас ходы. Ну и слава Богу. Можете пока ничего не говорить, обдумайте все как следует. А уж я гарантирую, так сказать, техническое обеспечение. Вы не поверите, но я сейчас буквально аббат Фариа и Эдмон Дантес в одном лице. Слишком долго я мечтал об отмщении и готовился к нему. Так что вы только наводку дайте, а уж там... – Власьев неожиданно вздернул голову, посмотрел на Шестакова внимательно и подозрительно. – Вы, может быть, думаете сейчас, что я от чрезмерной задумчивости в уме повредился? Как тот же аббат? Разубеждать не буду, глупо было бы. Сами все увидите. Кстати, еще одна идея у меня мелькнула. Может быть, не через финскую границу нам стоит двинуться, а морем, в Норвегию. Парусный бот купить или украсть, а то и рыболовный сейнер. Поначалу риска побольше, но если горло Белого моря проскочить, то потом может куда вернее получиться.

Впрочем, это уже детали. А пока пойдемте домой. Обедать пора. А сюда точно никто не доберется, ни машиной, ни санями, ни пешком. Я посмотрел, заносы непроходимые. До Осташкова сорок верст, и все лесом. На танке не проедешь.

– А озером, как я?

– И озером не добаться. Санний след замело, видимость, считай, нулевая, ни один местный мужик ехать не рискнет, а чужой заплутает и замерзнет. Погода действительно как на заказ. Силен ваш ангел-хранитель. Самое же главное – никому ведь в голову не придет вас здесь искать.

Просто по теории вероятности. Я даже вообразить не могу стечения обстоятельств, при котором кто-то мог бы вычислить ваши действия... В нынешнем НКВД, функционирующем по принципу негативного отбора, давно уже не осталось подходящих людей.

Власьев несколько ошибся. Такой человек в Москве был, просто он сам еще не знал, что ему придется решать подобную задачу.

Глава 10

Валентину Лихареву действительно нравилось жить на Земле. И конкретно в России, в Москве. Да и как могло быть иначе? Пусть он и знал, что не является человеком в полном смысле этого слова, но ощущал себя именно им.

И не так уж в этом контексте было важно, что по должности он был «тайным дипломатическим агентом» великой Галактической суперцивилизации аггров, «смотрящим», как выражаются в преступном мире, за той частью планеты Земля, которая здесь и сейчас называется СССР. Но подлинным инопланетянином, пришельцем, агтрианином по крови он тоже не являлся.

Известно, что цивилизация аггров существует хотя и в одной с нами реальности, но в потоке противоположно движущегося времени. И в своем подлинном физическом облике ни один ее представитель на Земле появиться не может. Как не может прогуляться по суше глубоководная рыба аргиропелекус, комфортно себя ощущающая на дне Марианской впадины. Хотя, конечно, существуют приборы, условно именуемые хронолангами, позволяющие на некоторое время погрузиться в поток времени с противоположным знаком, но такие посещения по определению эпизодичны и кратковременны, требуют огромных затрат энергии и технических ухищрений, реальная же польза от них немногим большая, чем от прогулки Армстронга по Луне.

Однако по весьма существенным, скорее даже мистическим, нежели экономическим или политическим причинам присутствовать агграм на Земле надо. Для поддержания «равновесия Вселенной», поскольку эта планета, а точнее – возникшая на ней уникальная цивилизация, отчего-то не подвластная универсальным законам Гиперсети, нуждается в постоянном контроле.

Аггры наряду со своими вечными соперниками и «заклятыми друзьями» форзейлями занимаются этим уже вторую тысячу лет, иногда вмешиваясь в человеческую историю, иногда просто наблюдая за происходящим, и верят в сакральную важность своей миссии, наверное, не меньше, чем христианские миссионеры среди свирепых язычников или доктор Швейцер, за тридцать с лишним лет своего подвижничества вылечивший в госпитале в Ламбарене (Габон) куда меньше людей, чем его соотечественники убивали (и умирали сами, кстати) за сутки боев Первой мировой войны, начавшейся как раз на следующий год после открытия знаменитого госпиталя.

Для бесперебойного функционирования «военно-дипломатических служб» на Земле необходим был персонал достаточно обширный: «человек» пятнадцать-двадцать на роли резидентов в ключевых регионах планеты, еще с полсотни агентов-координаторов разного уровня и неопределенное количество «помощников» для выполнения разовых поручений и заданий. Но с последними проще: всегда можно найти «коллорабационистов», готовых за деньги, за избавление от смертельной болезни, еще из каких-то личных соображений, корыстных или возвышенных, потрудиться на благо «великой цели».

А специализированных, так сказать – «аттестованных» сотрудников готовить приходится с большими трудами и массой неожиданно возникающих проблем.

Вот тот же Валентин. Сколько он себя помнит, он воспитывался в питомнике-училище на великолепной планете Таорэра, крайне похожей на Землю в конце кайнозойского периода, где климат, как в Канаде, прозрачные реки текут среди розовых гранитных утесов, леса из пятидесятиметровых мачтовых сосен тянутся на тысячи километров к северу и югу от экватора, пейзажи напоминают лучшие картины Шишкина и в воздухе не найти ни одной молекулы промышленной грязи. Поскольку нет никаких следов технологической цивилизации.

Здесь, на специально оборудованной базе, из доставленных с Земли эмбрионов выращиваются будущие резиденты и координаторы. В принципе – стопроцентные люди, даже – двухсотпроцентные. Обладающие сверхчеловеческими (но не сверхъестественными) свойствами и способностями. Идеально сбалансированные физиологически и генетически. И в полном соответствии с теорией Ефремова – могущие служить эталонами человеческой красоты.

Настолько, что один из первых людей, осознанно вступивших в «огневой контакт» с агтрианами, Андрей Новиков, незаурядный психолог и безрассудно отчаянный ксенофоб, специально отметил это как их видовой признак. Особенно наглядно присущий агентессам – женщинам.

Мужчины бывали всякими. Поскольку красота лица никогда не была у них адаптационным признаком, они получались разными, но обязательно физически крепкими, пропорционально сложенными, умными – в смысле абсолютной адекватности предложенным обстоятельствам.

О периоде своего взращивания на Таорэре и процессе «первоначального очеловечивания» Валентин не помнил почти ничего. И «настоящих агтров» в их физическом облике никогда не видел. Что не мешало ему осознавать свою принадлежность к великой расе и гордиться этим.

Зато он великолепно знал цель своего будущего существования. До конца дней служить «Отечеству» на Земле, в человеческом обличье.

Этим «кадеты Таорэры» выгодно отличались от выпускников даже самых элитных разведшкол Земли. Для них полностью исключалась проблема психологической адаптации. Нет, на самом деле, насколько труднее было работать в недрах РСХА даже гениальному Штирлицу, нежели природному немцу типа Шелленберга, просто получившему дополнительную установку на антифашизм.

У них, конечно, тоже случались срывы, как, например, у изображенной в почти канонических «Записках Новикова» Ирины Седовой. Можно сказать, в ее случае имел место «производственный брак», человеческая составляющая у девушки оказалась неожиданно сильнее, чем вся многолетне внушаемая и воспитываемая программа.

Но такой брак возможен всегда. Из выпускников Пажеского корпуса, с восьмилетнего возраста воспитываемых и муштруемых исключительно для беззаветного служения престолу, получались такие предатели корпорации и сословия, как Пестель, Кропоткин и Игнатьев, из Морского – Шмидт, Раскольников, Соболев, а из советских учебных заведений КГБ и ГРУ тоже вышло немало перебежчиков и диссидентов.

Впрочем, с Седовой это случилось гораздо позже, в конце 1970-х годов, а Лихарев начал свою деятельность на Земле за полвека до того.

Но и у Валентина человеческий фактор был как бы немного переразвит. Возможно, это вообще особенность русскоориентированных особей. За счет гипертрофии духовной сферы и повышенной эмоциональности. Без этого нельзя, и с этим тоже неладно. Русская душа, одним словом. Нередко он на досуге тосковал о глупой случайности, которой был обязан своему нынешнему, весьма двусмысленному состоянию.

Его предшественник, отвечавший за дела в бывшей Российской империи, продержался на своем посту довольно долго.

Физически почти не подверженный старению, он два или три раза менял фамилию и внешность, ухитряясь с начала царствования Николая I и вплоть до октябрьского переворота занимать достаточно заметное положение в свете, влиять как на внешнюю, так и на внутреннюю политику в нужном направлении. Логика и конечные результаты своих действий его интересовали мало, он просто в меру сил исполнял то, что диктовалось свыше.

Но в принципе тот координатор считал, что действует на благо России, вне зависимости от того, что получалось на практике.

Да и получалось не так уж плохо. Если не считать несчастной японской войны, страна двигалась от азиатчины к цивилизации, в сторону демократии английского типа. Не без его участия была принята вполне приличная для самодержавной империи конституция, крепко стоял золотой рубль, экономика развивалась невиданными темпами, и аналитики всерьез предполагали, что году так к девятьсот тридцатому держава выйдет на первое место в мире по валовому национальному продукту.

Однако вдруг что-то не заладилось. Неизвестно отчего (вопреки желаниям как Антанты, так и Тройственного союза) разразилась мировая война. Сколько ни анализировали потом историки обоих лагерей причины и поводы, а дельного ответа так и не нашли. Просто не было ни у одной из сторон целей, ради которых стоило бы класть в землю миллионы людей. И разумных планов войны ни у кого не было, что немцы, что Антанта собирались продемонстрировать соперникам собственную мощь, а где-то к ноябрю того же года подписать для всех почетный мир. Некоторые разногласия имелись лишь в вопросе – где его подписывать. Одни считали, что в Париже, другие предпочитали Берлин.

Увы, ошиблись все. Бессмысленная мясорубка затянулась на четыре года. С параноидальным остервенением миллионы бойцов в зеленых, серых, синих, голубых шинелях месяцами штурмовали какой-нибудь «домик паромщика на Изере», ради прорыва первой линии окопов под Верденом гибло больше солдат, чем их было в великой армии Наполеона перед вторжением в Россию. И – ничего!

А там подоспела и Февральская революция в России. Тоже странная.

Чтобы подавить возникшие в Петрограде беспорядки, достаточно было двух гвардейских полков, а то и вообще царю можно было ничего не делать, кроме как арестовать и тут же расстрелять на краю насыпи думскую делегацию, прибывшую требовать у него отречения, после чего объявить Могилев временной столицей империи, предложить Вильгельму сепаратный мир без аннексий и контрибуций, а там и двинуть на северную столицу испытанные фронтовые части.

В любом случае последствия для Николая, его семейства, России, Германии и всего мира оказались бы куда менее тяжкими, чем то, что вышло в действительности.

Но все это – лирика. История не знает сослагательного наклонения. Что было, то было.

С агтрианским же резидентом произошла вообще дурацкая история. Он только-только начал выстраивать новую стратегию действий и даже успел поспособствовать организации корниловского мятежа, как во время июльских, 1917 года, событий в Петрограде получил шальную пулю в затылок на углу Литейного и Невского.

С таким ранением он бы справился, имея чрезвычайно живучий сам по себе организм плюс обеспечивающий стопроцентную и быструю регенерацию браслет-гомеостат на правой руке. Полежал бы без сознания полчаса-час и поднялся с головной болью, но живой, а назавтра и здоровый.

Но – не повезет, так не повезет – рядом вместо санитаров или хотя бы просто честных граждан случились мародеры. Балтфлотские братки или лиговские воры. Обшарили карманы хорошо одетого покойника, кроме денег, свистнули массивный золотой портсигар и заодно, приняв его за оригинальные наручные часы, гомеостат.

Вот тут уж все. И резидент скончался, как самый обычный недорезанный буржуй, как еще полторы сотни жертв так до сих пор неизвестно кем организованной провокации. Многие утверждают, что большевиками, но не меньше сторонников гипотезы, что это Керенский решил таким путем избавиться от набирающих силу Советов. Впрочем, сегодня это уже неважно.

О судьбе своего предшественника Лихарев, естественно, не знал ничего. Да и откуда, если исчезновение координатора осталось загадкой даже для верховного руководства? Был человек и исчез бесследно.

Но чисто теоретически интересно вообразить, как повлияли украденные инопланетные устройства на судьбы их новых владельцев? История, возможно, не менее увлекательная, чем у пресловутого «алмаза Раджи».

Что, если похититель или тот, кому он продал или сменял на что-то упомянутый гомеостат, догадался нацепить его на руку? Вдруг и сейчас живет на свете бессмертный люмпен, сам не понимающий, отчего не влияют на него превратности жизни, скверный самогон, войны и революции, удар колом по голове в пьяной драке. Впрочем, подобный случай уже имел место. Один средневековый ландскнехт получил вечную жизнь, воспользовавшись придуманным Парацельсом снадобьем и за четыреста лет дослужился до капрала английской армии.

В кровавой суматохе следующих четырех лет территория, занимающая 1/6 часть суши, осталась без постоянного присмотра и стабилизирующего воздействия инопланетных координаторов, чем, возможно, и объясняется сумбурность и бессмысленная жестокость гражданской войны.

Центральная лондонская резидентура леди Спенсер если и вмешивалась, то вполне эпизодически: то пытаясь поддерживать разрозненные антибольшевистские силы, то вдруг склоняясь в пользу мира с коммунистами. Итог – известен.

В красном же лагере на тот момент подготовленных агентов не оказалось. Никто просто не предполагал, что следует внедрять своего наблюдателя в руководство незначительной партии, руководствующейся не имеющими никакого отношения к реальной жизни идеями заштатного немецкого экономиста, раздираемой вдобавок внутренними склоками и бесконечными разборками. И то, что она вдруг сумела не только захватить власть в империи, но и удерживать ее с невиданной в цивилизованном мире жестокостью, было для агтрианских аналитиков полнейшей неожиданностью.

Вот в Германии, к примеру, тамошние марксисты – спартаковцы – тоже попробовали учинить нечто подобное, но их быстро поставили на место, ликвидировав не более десятка идеологов-экстремистов. Потому что агтрианская агентура в Берлине оказалась на высоте.

И лишь в двадцать третьем году Центр подготовки на Таорэре сумел перепрограммировать, в соответствии со складывающейся в СССР реальностью, выращиваемого совсем для других целей агента.

Сложность задачи, стоявшей перед верховными руководителями программы, пребывающими в метрополии, заключалась в том, что противоположная направленность временных потоков исключала какую бы то ни было корректировку извне раз начатой акции.

С точки зрения стороннего наблюдателя, получивший задание агент немедленно начинал уходить в их собственное прошлое, и, естественно, что-либо приказать или подсказать ему было так же трудно, как нормальному человеку из сегодняшнего дня передать дельный совет себе вчерашнему.

Казалось бы, ситуацию должно упростить наличие колонии на Таорэре, имеющей, через зону нулевого времени, выход в нормальную земную реальность.

Но это иллюзия, на самом деле положение, по сути, оставалось прежним. Вроде бы очевидно, что получивший инструкцию от своего руководства функционер теоретически может передать на Землю какую-то команду, основанную на знании земного будущего, которое является агтрианским прошлым.

Однако знание это – одноразового действия. Как при разборе шахматной партии от конца к началу, причем каждая позиция изображена на отдельном листе.

Ты анализируешь положение на доске после тридцатого, скажем, хода, но пока не имеешь понятия, какие действия игроков ему предшествовали. Чтобы изменить положение, можно обратиться к десятому ходу или пятнадцатому, сыграть не ладьей, а конем, принять или отклонить жертву слона, но при этом потеряв возможность узнать, чем ответит твой партнер.

Тупик.

Таким образом, единственное, чем удалось педагогам-инструкторам вооружить Валентина, вообще-то готовившегося к работе в условиях царской России, так это энциклопедической образованностью, особым быстродействием мыслительных процессов, странной смесью цинизма и альтруизма (поскольку альтруизм и социальная справедливость – как бы идеал человека социалистического общества) и, конечно, непоколебимой верой, что, как бы там ни складывались обстоятельства, для него все будет хорошо. А это очень и очень существенно для каждого разумного существа – непоколебимая вера!

Так оно все и вышло.

Двадцать четвертый год ушел на внедрение, вживание, документирование легенды, налаживание нужных связей, создание у значительного контингента перспективных товарищей непротиворечивых воспоминаний о совместных с Лихаревым подвигах в годы гражданской войны, а затем и приобретение не придуманных, а подлинных заслуг перед Советской властью. Спешить координатору было некуда, по оптимистическим подсчетам, век-другой у него в запасе имелся.

Занять при Сталине нужное место Валентин сумел в промежуток между «угаром нэпа» и началом коллективизации. Сопровождал его в поездке по Сибири, где и был окончательно решен вопрос о «раскулачивании», оказал вождю ряд ценных услуг в дискредитации Троцкого и расколе зиновьевско-каменевско-бухаринского комплота. А потом наступил его звездный час – дело Кирова.

Тут еще вот какое дело – по причинам недостаточно ясным, но тем не менее безусловным, как требования коню в шахматах ходить не иначе как буквой Г, хотя по условиям боя куда разумнее большая свобода действий, агент не имел права (категорический императив!) осуществлять любые силовые акции, предполагающие личное участие.

Хотя технических возможностей было достаточно и чтобы ликвидировать ставшего неудобным политика, и выиграть сражение, и наполнить золотом опустевшие государственные закрома.

Увы – нет. Только сложные интеллектуальные ходы позволялись резидентам, интриги, опосредствованное воздействие на первых, вторых, третьих лиц государства, вербовка и перевербовка нужных для дела людей.

Выполняя очередную стратегическую концепцию, хорошо уже зная характер и натуру Сталина, он два с лишним года подбирал необходимые материалы на Сергея Мироновича Кирова, вел записи его бесед с врагами и соратниками, умело монтировал компрометирующие тексты, регулярно предлагая их вниманию Хозяина, ненавязчиво, наряду с массой всякой другой информации, и в результате создал нужную установку.

В результате тщательно спланированной и аккуратно проведенной работы к началу XVIII съезда ВКП(б), известного также как «съезд победителей» (имелось в виду – во внутрипартийной борьбе), товарищ Сталин был вполне готов поверить во все, что Валентин ему предлагал, в том числе и в итоги голосования на пост Генерального секретаря, по которым Киров якобы занял первое место.

Пересчитали, конечно, как надо, сенсации не произошло, Иосиф Виссарионович остался при должности, но судьба Кирова была решена.

Потом и Николаев исполнил свою роль, из старого «нагана» солдатского образца пальнув в коротком аппендиксе двухсотметрового смольнинского коридора в затылок предводителю ленинградского пролетариата. Через две недели Особое судебное присутствие по вновь принятому Закону от 31.12.34 приговорило к немедленной смертной казни и самого Николаева, и двенадцать его близких и дальних родственников, и еще 96 высокопоставленных руководителей Ленинградского обкома и горкома партии, комсомола, Ленсовета, комитета профсоюзов и еще кого-то там.

Ни сном ни духом не ведавший о случившемся начальник ЛенГПУ Медведь, второй месяц лежавший в больнице с переломом бедра, получил три года дальних лагерей, где вскоре тоже был расстрелян. Наверное, чтобы разные мысли не пришли в голову, а может быть, уже там, в лагерях, что-то не то сказал.

Операция удалась хоть куда. А уж сколько человек в результате оказалось у Лихарева на крючке – и передать невозможно.

При всем при том, если кто-нибудь вообразит, что Лихарев был плохой человек, садист, преступник и тому подобное, он будет не прав. Никто же не считает, что плохими людьми были судьи Нюрнбергского трибунала. Они ведь тоже отправили на виселицу 12 главных военных преступников, а потом санкционировали казни и длительные сроки заключения еще сотням функционеров режима, ничуть не более жестокого и бесчеловечного, чем аналогичный.

На самом деле Валентин Лихарев был веселый и добрый парень. Эпикурец где-то. Что тоже было рудиментом той роли, к которой его готовили первоначально. А именно – за год-два до окончания он должен был подменить в Училище правоведения, Пажеском или Морском корпусе (по обстановке) подходящего юношу, способного стать однокашником, потом приятелем, близким другом цесаревича Алексея. Излечить августейшего наследника от гемофилии должен был по достижении им четырнадцати лет Григорий Распутин. Оттого и бился он так страстно, рискуя жизнью, за немедленное заключение сепаратного мира.

К сожалению, не получилось, хотя и до сих пор снились Валентину сцены из несбывшегося вроде большого приема в Георгиевском зале Зимнего дворца по случаю тезоименитства Его Императорского Величества Алексея Второго или ежегодного парада гвардии в Красном Селе, где сам он в сияющей кирасе, с флигель-адъютантскими аксельбантами, подняв палаш, возглавляет первый эскадрон кавалергардского полка.

Но и так получилось неплохо. Он имел возможность вкусно есть и под настроение выпивать, любить многочисленных женщин из всех слоев советского общества, покровительствовать писателям и артистам, вообще пользоваться всем тем, что предоставляет неглупому гуманоиду судьба, позволившая ему по странному капризу на какой-то срок прийти в этот мир.

Но самому непритязательному эпикурейцу надо же где-то жить. Россия 20-х годов XX века отнюдь не Древняя Греция. Бочка Диогена здесь не соответствует климату. Требуется нечто более капитальное.

До 1927 года Валентин довольствовался тесноватой клетушкой в Кремле, все достоинства которой исчерпывались тем, что она находилась на одном этаже с квартирами Сталина, Бухарина, Демьяна Бедного. Это было удобно в одном смысле и крайне обременительно во всех остальных. Следовало искать варианты. И они, безусловно, нашлись.

Вначале он добился у Сталина разрешения открыть нечто вроде лаборатории для разработки новых образцов подслушивающей аппаратуры и одновременно – конспиративной квартиры для встреч с агентурой в невзрачном двухэтажном доме на стрелке Каретного ряда и Петровского бульвара. Это было гораздо удобнее, но – для Лихарева – сталинского порученца. Валентину – инопланетному резиденту – требовалось особое помещение не только для комфортабельного проживания, но и в качестве тайной операционной базы.

Несмотря на жилищный кризис, который не просто был, а прямо-таки свирепствовал в заповенной искателями счастья из провинциальных городов и бывшей черты оседлости столице, все те помещения, что были здесь при старом режиме, никуда не делись, они лишь отчасти поменяли своих владельцев.

Надо было просто как следует поискать, чтобы сделать выбор раз и навсегда.

Ассортимент приличного и отвечавшего его целям жилья был обширен, но Валентину по ряду причин приглянулся именно этот дом с причудливым фасадом в самом сердце Москвы.

Тогда Тверская, впоследствии – улица Горького, еще не имела нынешнего статуса. Куда более элегантными и престижными считались Петровка, Большая Дмитровка, Кузнецкий

Мост. Ну и пересекающие их в пределах Бульварного кольца переулки, Столешников в том числе.

Первый этаж избранного Лихаревым здания занимал роскошный нэпманский магазин, на втором и третьем обитали люди, имевшие постоянный и твердый доход, – модные писатели, театральные режиссеры и актеры, популярные гинекологи и адвокаты. В этой, под номером 4 на белой эмалевой табличке, прикрепленной к стеганной ромбами, блестящей, как паюсная икра, обивке двери, проживал профессор международного права, которому чем дальше, тем меньше нравилась советская жизнь.

Пусть и зарабатывал он более чем прилично, и авторитетом пользовался, и лекции читать его приглашали в Институт красной профессуры и в ЦК ВКП(б), знание закономерностей исторического развития (не по Марксу, а вообще) подсказывало профессору, что из царства большевиков надо бежать.

И чем скорее, тем лучше. Звончков, извещающих о начавшемся похолодании, было достаточно – высылка Троцкого, шахтинское дело, процесс Промпартии, понятные для посвященных намеки на грядущее свертывание нэпа и желательность сплошной коллективизации и индустриализации.

Профессор заторопился.

Вначале он выхлопотал себе и семейству заграничные паспорта для поездки на лечение в Германию, а потом исподволь начал распродавать верным людям кое-какие ценности, которые невозможно было легально вывезти из СССР.

Тогда он и попал в поле зрения Лихарева.

Валентин, как сказано, был человек гуманный и ничего не имел против профессора. Он ему даже сочувствовал. Но и свои интересы ценил достаточно высоко. Раз уж квартиросъемщик все равно съезжает, что называется, «с концами», так зачем же допускать, чтобы комфортабельно обставленное помещение с любовно подобранной коллекционной мебелью XIX и даже XVIII веков, подлинными картинами известных мастеров, китайским фарфором и нефритом досталось неизвестно кому. Впрочем – известно.

В первых числах августа 1928 года Лихарев узнал, что профессор получил наконец загранпаспорта и выкупил билеты на берлинский экспресс. Но еще не успел продать мебель, библиотеку и большую часть коллекции.

Время пришло.

Дождавшись, когда хозяева по последним неотложным делам покинули квартиру (домработницу и кухарку рассчитали еще раньше), Валентин взбежал вверх по широкой чугунной лестнице. После уличной жары в подъезде было сумрачно и тихо. Сквозь высокие витражи на пол падали пятна разноцветного света.

Оглядевшись на всякий случай, прислушавшись, не спускается ли кто сверху, Лихарев меньше чем за минуту открыл универсальной отмычкой оба достаточно хитрых, рассчитанных на нынешние беспокойные времена замка.

Вошел.

Толстое, в четыре пальца, полотнище, обитое вдобавок войлоком и кожей, бесшумно затворилось, надежно отсекая от превратностей и треволнений внешнего мира.

Приятные запахи богатого и культурного жилья, мозаичный паркет, лепнина потолков, стены, обтянутые штофной тканью, а не бумажными обоями, – все сейчас радовало сердце Валентина. Жить здесь будет наверняка приятно.

Он обошел все помещения квартиры, тщательно их осматривая. Если называть происходящее своими словами – попросту грамотно обыскал.

Кроме четырех уже упакованных хозяевами чемоданов, он нашел еще два пустых и сложил в них то, что никому, кроме членов семьи, было неинтересно, а для них представляло ценность, большую, может быть, чем обычное имущество, – альбомы фотографий, дневники,

письма, детские игрушки и тому подобное. Если они намеревались собрать все это позже – Лихарев им помог. Если решили оставить за ненадобностью – пусть сами и выбрасывают. Его совесть будет чиста.

Все шесть чемоданов он вынес в прихожую и рядом поставил у боковой стенки. Внимательно на них посмотрел и, будто это имело какое-то значение, передвинул на полметра в сторону.

Теперь оставалось совершить простую, хотя достаточно необычную для этого места и времени процедуру.

Из принесенного с собой саквояжа Лихарев извлек не на Земле изготовленный шарообразный предмет или скорее прибор в темно-оливковой, слегка поблескивающей оболочке. Штепсельным шнуром подключил его к электророзетке. Сдвинув потайную защелку в районе экватора, разнял на две половины и начал колдовать над рядом серебристых сенсорных полей, посматривая то на свои наручные часы, то на мигающие разноцветные секторы нескольких овальных циферблатов.

Очевидно, добившись желаемого сочетания параметров, еще раз взглянул на золотой лонжиновский хронометр, словно проверяя, пришло ли время, и нажал наконец длинную, испещренную значками неизвестного алфавита танкету в середине «шара».

На первый взгляд ничего не произошло.

На второй и на третий – тоже.

Все та же приятная тишина царила в комнатах, так же падали на паркет лучи солнца сквозь щели в задернутых по случаю августовской жары портьерах.

Только, если быть уж очень внимательным, исчезли хозяйские чемоданы из прихожей. Это, очевидно, и было для Валентина самым главным.

Он уселся в глубокое кожаное кресло в гостиной, напротив прекрасного кабинетного рояля, без которого немислим был до революции более-менее приличный дом, вытянул ноги в надраенных уличным чистильщиком до синих искр сапогах, уже слегка подернутых летней пылью, закурил взятую из коробки на столе профессорскую папиросу.

«Нет, – подумал он, и далеко уже не в первый раз, – жить и в эсэсэрии можно, если знаешь – как. Люди – они умеют устроить для себя индивидуальный комфорт в самых нечеловеческих обстоятельствах». И даже ему самому не совсем понятно было, гордится ли товарищ Лихарев своей принадлежностью к человеческому роду или дает беспристрастную оценку тем, среди кого вынужден работать.

Потом он свернул «шар» и спрятал его в резной и громадный, как Кельнский собор, платяной шкаф. Вышел в прихожую, извлек из кармана портсигар, нажал кнопку замка... Доля секунды, а может, и меньше, и теперь уже вся обстановка квартиры пропала, лишь чемоданы сиротливо стояли на сверкающем, без единой пылинки полу.

Даже пыль осталась там, в ином пространстве. Аппаратура работала пусть немного формально, но четко.

Валентин удовлетворенно кивнул, вновь щелкнул густо-синей, наверняка – сапфировой кнопкой портсигара и вышел на лестницу, переместившись из параллельной реальности в исходную, отличающуюся всего на один квант времени и на одно-единственное значащее событие.

Хозяин же, вернувшись домой, с глубочайшим изумлением увидел, что его квартира совершенно, абсолютно пуста. Если не считать стоящих посреди прихожей чемоданов. Четырех собранных лично и еще двух – неизвестно кем. Но больше – ничего. Ни мебели, ни ковров, ни библиотеки в десять тысяч томов. Даже штор на дверях и окнах, посуды на кухне, мыла в ванной комнате – и того не было.

Немыслимо! Невероятно!

Однако и ограблением посчитать случившееся было невозможно. Как раз все наиболее ценные и портативные вещи, включая палисандровый ларец с бриллиантами жены, коллекцию золотых часов с дарственными надписями, семейное серебро с монограммами, заблаговременно уложенные в кофр, остались на месте. И не слишком ценные в рыночном смысле, но важные для семейной памяти – тоже!

Нормальные воры взяли бы как раз чемоданы. А прочее имущество – его же на пяти грузовиках нужно было вывозить.

Профессор, естественно, немедленно помчался на извозчике в ГПУ – благо недалеко, поднял там ужасный скандал, метнулся в ЦК, в МГК – у него везде были друзья и покровители (иначе черта с два он получил бы загранпаспорта на всю семью в такое время).

Ну и что? Конечно, прислали бригаду следователей, те опрашивали соседей, снимали отпечатки пальцев. Но как невозможно было представить, чтобы за четыре часа, пока отсутствовали дома профессор и его домочадцы, кто-то вывез пять комнат обстановки (как? на чем? и без шума? А сколько шума способны произвести грузчики и ломовики, таскающие по лестницам тяжеленные шкафы, столы и диваны, каждый знает), так и доказать обратное – ничего не украдено, и вам это только померещилось, товарищ профессор, – тоже оказалось невозможным, поэтому стороны постепенно пришли к консенсусу.

Из специальных фондов потерпевшему выплатили недурную компенсацию, заручившись словом джентльмена, что он об этом на Западе трепаться не станет, а если станет, то способы прекратить провокационную болтовню имеются в изобилии. Во избежание дальнейших недоразумений чекисты проводили профессора с семьей на вокзал казенным транспортом, снабдили бумажкой, гарантирующей от таможенного досмотра в Негорелом, и дружно постарались забыть о случившемся. Словно о стыдной неловкости, приключившейся с уважаемым человеком в приличном обществе.

А на другой или третий день странную квартиру заселили двумя дюжинами жильцов. По нормальному советскому стандарту – комната на семью. А сколько вас там, как вы обойдетесь одним унитазом и одной ванной на всех – ваши проблемы. В Центральные бани вон ходите, в ванне же огурцы хорошо солить. И никому не обидно.

Однако и Лихарев устроился жить в ней же, не испытывая ни малейшего неудобства от такого малоприятного, по любым меркам, соседства. Он просто жил чуть-чуть впереди своих соседей.

Совершенно так, как пассажир мягкого купе тронувшегося от станции поезда.

Пусть еще три человека имели билеты на остальные места, но они подбежали к перрону чуть позже прощального гудка и увидели лишь красный фонарь последнего вагона.

И все! Если угодно – садитесь в дрезину и догоняйте. По рельсам. Упретесь, если повезет, в буфера последнего вагона, но и не более. Ни слева, ни справа вы его не обгоните. Так и будете ехать до бесконечности след в след.

Не до бесконечности, конечно, а до первой остановки, только вот когда она будет – решать не вам!

Если очень нужно, можно даже попытаться проникнуть в оплаченный вагон. Но тут требуется особое умение, или, выражаясь научным языком, способность преодолевать границы гомологичных, но не аналогичных пространств. А также ключ.

У Валентина он был. Внутри золотого портсигара.

Имелось лишь одно, незначительное, впрочем, неудобство.

Пересекая дверной проем, а вместе с ним и границу синхронных реальностей, он рисковал столкнуться с кем-то одновременно выходящим из квартиры или входящим в нее.

Не опасно, но зачем же привлекать излишнее внимание даже в таких мелочах? На этот случай он оборудовал над дверью чувствительный масс-детектор и выходил, когда ни на пло-

щадке, ни на лестницах не было никого. За минувшие десять лет ни одного прокола, слава Богу, не случилось.

Глава 11

Что-то мешало Шестакову окончательно и просто принять очевидное вроде бы решение. С одной стороны, мысль пришла в голову легко и просто, никаких разумных доводов «против» он привести не мог. Более того – эта идея вызывала у него нечто вроде радости и веселой злобы – мол, еще раз, и как следует, отомщу ненавистному сталинскому режиму.

Но с другой – вся его советская, большевистская сущность протестовала. Не так просто было избавиться не от убеждений даже, а от проникшего до мозга костей инстинкта единомыслия.

Нельзя, никак нельзя позволить себе даже думать о чем-то, расходящемся с линией партии, а уж тем более – действовать явно во вред ей. Даже убийство сотрудников НКВД казалось меньшим грехом. Это – дело привычное. Человек – винтик. Сегодня он нужен, завтра – нет. Можно экспроприировать, отправить в ссылку, приговорить к десяти годам или расстрелу, как потребуется. Еще Ленин говорил – нравственно только то, что полезно делу партии. Соответственно – все остальное безнравственно.

А сейчас он собирался посягнуть на самое святое. На «народные деньги». Хотя никакими народными, в буквальном смысле этого слова, они давно уже не были, поскольку народ никакого влияния на них не имел и пользы ему, народу, от них тоже не было никакой.

Предназначались они для финансирования республиканского правительства Испании, еще конкретнее – для закупок во Франции и других европейских странах оружия и снаряжения интербригад. Не все возможно доставлять на Иберийский полуостров пароходами из Одессы, прорывая блокаду, да и в пропагандистском плане гораздо приличнее было вооружать прибывающих со всех концов света добровольцев винтовками, пулеметами и прочей техникой производства нейтральных стран, а еще лучше – немецкой и итальянской.

В отличие от Гитлера и Муссолини, Сталин отчего-то стеснялся открыто признать свое участие в чужой гражданской войне.

А Шестакову, в числе прочих, ему неизвестных, лиц, было поручено данную акцию обеспечивать. То есть наладить целую сеть по материальному обеспечению войны. Для чего нарком и получил приказ открыть на свое имя в специальном доверенном банке особый счет, распоряжаться которым мог исключительно он сам по особым каналам.

И если бы он смог сейчас попасть в Европу...

Но в ближайшие дни и даже недели это невозможно, а позже... Нарком испытывал обоснованное опасение, что каким-то образом НКВД, НКВД, Наркомфин, еще какое-нибудь ведомство сумеет эти счета заблокировать, способы у них наверняка есть. Должны быть. Невозможно же допустить, что он действовал на самом деле бесконтрольно и все его связи не отслеживались.

Тогда возникает вопрос: каким образом можно своих нынешних врагов опередить?

Хорошо, что Власьев не настаивал, не добивался ответа, какой такой способ решить финансовую проблему известен бывшему юнкеру и теперь уже бывшему наркому.

Шестаков выбрал момент, уединился с женой, когда уложили спать сыновей после обеда.

Поделится с ней своими сомнениями. Зоя рассмеялась даже не зло, а издевательски. Как, кажется, смеялась в одной из своих театральных ролей.

И напомнила ему заголовок одной из глав романа Новикова-Прибоя «Цусима», которую не так давно оба прочли.

– «Перед врагами герой, а на свободе растерялся». Помнишь, о чем сказано? Так что не надо передо мной нюни распускать. Все равно не поверю и не посочувствую. Или ты думаешь когда-нибудь где-то оправдаться этими вот словами? Простите, дорогие товарищи, ошибся немного, а вообще-то я ваш верный слуга до гроба.

Брось, Гриша, не заставляй в себе разочаровываться. Пошли – так до конца. За границу – значит, за границу. Не выйдет – не выйдет. А назад возврата нет, хоть ты сейчас на ближайшей осине повесишься. Как правоверный китаец, чтобы посильнее унижить своего врага...

И повернула разговор совсем на другое. Что она думала, он совсем уже перестал быть мужчиной не только в нравственном, но и в известном смысле. Но лишь за сутки ему удалось опровергнуть сразу оба ее мнения. И это радует. Она надеется, события минувшей ночи отнюдь не случайный эксцесс, а лишь начало новой жизни.

Наркому тоже так казалось, он только не сказал, что ночью с ним была совсем другая женщина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.